

# БМЖ

Библиотека Модной Жизни

## Игорь Тарасевич Молодость forever

Время армейской  
службы – самое  
лучшее время  
моей жизни

Солдата в какое  
место ни целуй –  
везде жопа

Пистолет  
не игрушка!

Солдатом движет  
страх и принуждение!





Библиотека **Модной Жизни**

THEORY OF THE EARTH

1850-1860

1860-1870

1870-1880

1880-1890

1890-1900



Библиотека Модной Жизни

Игорь Тарасевич  
**Молодость**  
**forever**

АСТ  
Зебра Е  
Москва

УДК 821.161.1-31Тарасевич И.

ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

Т19

Обложка и макет  
Андрея Рыбакова

Подписано в печать 17.09.2008. Формат 84х108 1/32.

Гарнитура «Ньютон». Усл. печ. л. 8,4.

Тираж 3000 экз. Заказ № 738.

**Тарасевич И.**

Т19 Молодость forever / Игорь Тарасевич. — М. : Зебра Е, 2008. —  
с. 160.

ISBN 978-5-94663-505-2

Смешная и горькая повесть о том, что молодость всегда была и  
будет оставаться в моде, хотя и вторгается в это «модное ощущение»  
безжалостное Время.

Агентство СІР РГБ

ISBN 978-5-94663-505-2

© Тарасевич И., 2008

© Рыбаков А., обложка, макет, 2008

© Издательство «Зебра Е», 2008



# 1.

Я поставил свою подпись — «Угурбек Кысынбаев» и крикнул:

— Воин!

С тресканьем провернув вал пишмашинки, огромной старинной и давным-давно раздолбанной Optima, вытащил отпечатанный лист и протянул его вошедшему солдату — сдал материал в набор. Эти слова — «сдал в набор» — в то время, а стоял тогда 1976-й год, имели первозданный смысл: тексты в моей газете необходимо было действительно набирать, как, по сути, еще при Гуттенберге.

Существовала наборная касса, представляющая собою некую контаминацию туалетного столика и комода, где в открытых отделениях хранились свинцовые буквы-литеры. Наборная машина, разумеет-

ся, штатом «дивизионки» не предусматривалась. Солдат-наборщик набирал тексты на металлическую линейку, которая, в свою очередь, вставлялась в форму газетной полосы (половина нынешней А3), а та мазалась свинцовым же, распространяющим удушающие смертоносные пары красящим составом — для последующего получения оттисков под прессом. Этот последний, врать не буду, был слегка механизирован — работа его основывалась на электроприводе, подавать бумагу и опускать штамп вручную не приходилось.

Когда я думаю, что успел увидеть это собственными глазами, мне на моем шестом десятке кажется, что я уже прожил мафусаилов век и, во всяком случае, нахожусь в полном своем праве набирать сейчас на клавиатуре крохотного ноутбука Panasonic читаемый вами мемуар. Прошло около тридцати лет! Собственно говоря, вся жизнь.

Да-с, а почти тридцать лет назад, в июльское утро семьдесят шестого, солнце било в три, на каждом моем плече, латунные звездочки старлея, высекая ослепительные отблески с них. Пахло нефтью — жирным запахом растертого можжевельника, этот запах сопровождает вас в Баку повсюду; воздух был сухой, слоющийся над испаряемой влагой, а сидел я в редакции многотиражной газеты «За Родину», принадлежащей бригаде Железнодорожных войск, дислоцированной в столице советского Азербайджана городе Баку, «Бакы» по-ихнему. Я не раскры-



ваю никакой военной тайны уже несуществующего государства?

У нас в бригаде, кстати сказать, служил такой же, как я, лейтенант-двухгодичник, который однажды получил от своей девушки письмо, и адрес на конверте был написан так: «Город Баку-33, Штаб 14-й Железнодорожной бригады в\ч 83892, 87-й Отдельный батальон в\ч 01545, 3-я рота, лейтенанту Спагину. Писать же следовало лишь: Баку-33, в\ч 01545. Кто-то — скорее всего, еще на почте — стукнул, бедного Спагина тут же вызвали в оный штаб столь беспечно поименованной и посчитанной полностью бригады, а в батальон приехал выглядывающий провинциальным азербайджанским денди уполномоченный бригадного КГБ — старший лейтенант с рябым, как у товарища Сталина, ликом, в расстегнутом офицерском плаще с неуставным, чуть ли не пестрым многоцветным шарфом, в неуставных башмаках и в черных солнечных очках, которые, очки, Уставом Советской Армии запрещались тогда. Если я не ошибаюсь, ношение очков могло быть установлено — только в южных частях — распоряжением соответствующей комендатуры. Наша бакинская комендатура таких распоряжений не отдавала.

Но у бригадных особистов нарушение формы одежды считалось, видимо, профессиональной привилегией. Сколько их ни приезжало в батальон — все, кстати сказать, ребятами были неплохими в первом-то приближении, — не застегивался ни один

ни при каких обстоятельствах. Ну, разве что зимой. Так они давали понять, что отличаются от обычных лейтенантов. А майор, начальник Особого отдела, ходил в черных очках даже, по всей видимости, в туалет, как знакомый Манилова — с трубкою. Во всяком случае, всегда на различных общих читках приказов, совещаниях и сборах он сидел в этих очках. Может быть, его открытый взгляд, как взгляд василиска, оказался бы слишком жгучим для простых людей, и майор таким способом заботился о благе офицерского, сержантского и рядового состава, а может быть, майор являлся выведенным в тираж советским Джеймсом Бондом, который до поры до времени все еще не может открыться обществу, чтобы даже взглядом не выдать неких страшных тайн и секретов, Бог весть.

Сейчас меня ужасно веселят черные очки внутри помещений и в темное время суток на различных братках, охранителях и охранниках (кои или теми же самыми братками, или бывшими охранителями и являются), я не вижу в зеркальных гляделках ничего, кроме желания дешево выебнуться и понимания, что выебнуться они безнаказанно — могут. Вероятнее же всего, эти ребята сами боятся, что кто-то заглянет им в глаза. Или я не знаю какого-то главного osobистского секрета.

У меня был смешной случай несколько лет назад. Солнечным днем рядом со мной на светофоре остановилась набитая шпаной «девятка», шестеро



там сидело — четверо на заднем сидении. И все шестеро, как один, молча в упор на меня уставились. Что делать, мне не оставалось ничего, кроме как так же в упор уставиться на них. Так мы несколько секунд тупо лупились друг на друга, пока не зажегся «зеленый». Только отъехав от перекрестка, я понял, чем вызвал интерес у ребятишек — одно из ссохшихся пластмассовых стеклышек на моих грошовых солнечных очках вылетело, и я смотрел на Божий мир одним беззащитным, а одним защищенным глазом, как Индиана Джонс в старости. Уж наверняка мой взор в таких очках был страшен.

А что до комендатуры, то однажды я имел удовольствие общаться непосредственно с комендантом Баку. Осатаневшие от перманентного построения потемкинских деревень политработники послали меня проводить комсомольское расследование (это было короткое время модным комсомольским начинанием, вскоре же, разумеется, и погасшим) — снимать комсомольский допрос (!) с устроившего драку солдата, который содержался не на батальонной, не на бригадной, а на самой что ни на есть гарнизонной «губе», потому что пьяную драку воин учинил не в части, а в городе, во время увольнения.

Разрешение на свидание мог дать, как выяснилось, только комендант гарнизона. Не будучи тогда не только членом Союза журналистов, но даже и вообще журналистом, я обладал, нечувствитель-

но перекидывая мостик в будущее, поистине папарацциевской наглостью репортера и, поражая ею офицеров комендатуры, попросился к коменданту. Я вошел, лихо стукнул каблуками, приложился пятерней к фуражке и, испытывая щенячий восторг от собственного строевого молодечества, отчеканил:

— Лейтенант Тарасевич, воинская часть номер 01545! Разрешите обратиться, товарищ полковник?!

Сидевший за столом в углу огромного кабинета полкан поднял голову, брезгливо оглядел меня и проскрипел:

— Вам известно, товарищ лейтенант, что офицерский планшет Устав предписывает носить только на ремешке через правое плечо?

Я держал планшет в левой руке за ручку, словно портфель.

— Та-ак точно, таащц палл-ковник!

— Так па-аччему наруша-аете? Ххотите дессять ссуток а-аресста ссейчасс? И па-аччему у васс усы? Вы гррузы-ын?

— Никак нет, таащц палл-ковник!

Какая бы то ни было растительность на лице в Советской Армии официально не запрещалась, но и не поощрялась. Устав гласил, что военнослужащий должен быть аккуратно подстрижен и выбрит, что могло трактоваться по-всякому. Единственно кавказцам усы официально дозволялись в силу непобедимого их менталитета. Оглушающая инвекти-



ва полковника и развернутые им предо мною мои собственные перспективы произвели на меня столь сильное впечатление (тогда я был совершенно зеленым салагою), что, вернувшись в часть, я немедленно усы смахнул и отрастить их вновь решился только через полгода. На студенческом билете Литературного института я гордо выглядывал вновь усатым, но об этом речь впереди. Тогда же в комендантском кабинете повисла пауза, несколько секунд уставник наслаждался моим смятением и только потом, вновь опуская голову к бумагам, равнодушно бросил:

— Иди-ите...

— Есть! — так же отчеканил я, словно явился в гостеприимный кабинет только затем, чтобы благополучно получить тычков. Не помню уж, что там дальше происходило с комсомольским расследованием.

Моему появлению в первой в своей жизни редакции летом семьдесят шестого года предшествовала почти двухгодичная служба в Отдельном батальоне Железнодорожных войск, а до нее — учеба в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. Тут позвольте остановиться на пару слов.

Я поступил в МИИТ не из-за любви к железной дороге. К шестнадцати годкам я не имел никаких склонностей к чему бы то ни было и даже стихов еще не писал. Нормальные люди к 17-18 го-

дам стихи уже перестают писать, а я только начал. Сейчас мне кажется, что мои тогдашние творения были еще хуже тех, которые мне лет через десять приходилось читать пачками *ex officio*<sup>1</sup> — в должности литературного консультанта журнала «Студенческий меридиан». Впрочем, слово «читать» вряд ли тут уместно, потому что проходящие через меня стихи я, разумеется, и не думал прочитывать. Я обычно внимательнейшим образом изучал сопроводительное письмо, первые строки первого стихотворения и потом наугад выхватывал пару-другую строк из середины рукописи. И все сразу становилось ясным. Вердикт тут же оказывался готовым. Это был конвейер. Но до него в 1968 году, в году моего поступления в МИИТ, было очень далеко.

Никакими профессиями я не был очарован, разве что профессией пожарного — пожарным я желал стать в детском саду, в четыре года. До шестнадцати мечта не дожила. Наблюдался только страх перед Советской Армией — служить солдатом, разумеется, я вовсе не собирался. Да и как-то само собою разумелось, что надо получать высшее образование. Поэтому я выбрал институт, расположенный ближе всего к моему дому. Мы тогда жили возле Белорусского вокзала, к МИИТу ходил 5-й трамвай, надо было проехать лишь несколько остановок.

---

<sup>1</sup> По служебной необходимости (лат.).

Кстати, о «вовсе не собирався». Спекуляции по поводу гражданского долга, никак, я полагаю, тут не идут к делу, потому что повседневное бытование советской казармы к долгу перед Родиной не имеет никакого отношения. Помню, как уже после демобилизации в разговоре с одним поэтом, моим ровесником, я сказал, что более не желаю проходить никаких воинских сборов — я своё отдал. Поэт (сейчас, кажется, благополучно забытый) насмешливо сказал, что, дескать, насколько изменилось время: еще лет двадцать назад, не говоря уж о военной и предвоенной поре, такие слова просто немыслимо было произнести, да, дескать, почти никто так и не думал. Самое замечательное, что, во-первых, поэт сей только что со смехом показывал мне свой военный билет, где в графе «профессия» стояло «поэт», а во-вторых, буквально за день до этого наш общий знакомец, большой любитель каждому своему приятелю рассказывать разные байки о других приятелях, рассказал мне, как оный поэт предпринимал титанические усилия, чтобы избежать призыва и даже (тогда это еще не вошло в моду) прятался от военкомата на съемной квартире.

Прекрасно помню, как я вошел в зал МИИТовской приемной комиссии. Лишь за одним столиком одиноко скучал принимающий документы преподаватель, ко всем остальным стояли очереди абитуриентов. И я сделал первый в своей жизни осмысленный выбор — подал эти самые документы на



факультет «Мосты и тоннели», куда конкурс оказался ниже всего — меньше двух человек на место. Разумеется, после письменной математики отсеялись «чайники», второй экзамен, устную математику, я сдал на «пять», попутно исправив досадную ошибку, совершенную в письменной работе исключительно, я полагаю, по волнению — я доказал экзаменатору, что просто «зевнул». А на физике меня уже откровенно тянули, физику я знал плохо. В результате — поступил.

Кстати тут сказать, четвертым экзаменом в МИИТе было сочинение (абсолютно, на мой взгляд, не нужное при приеме в технический ВУЗ, как и, скажем, математика на биофаках, вполне достаточно просто учить людей работать на компьютерах — тех, кто не умеет), и совершенно замечательно, что и через семь лет при сдаче экзаменов в Литературный институт мне досталась та же самая тема — «Путь крестьянина в колхоз» по «Поднятой целине». И там, и там я написал один и тот же бред, не сделав, однако, ни одной грамматической и пунктуационной ошибки. В результате и в МИИТе, и в Литинституте, где уж, кажется, единственно во всем СССР должны были обращать глубокое внимание на стилевую и композиционную состоятельность конкурсных сочинений, я получил одну и ту же оценку — «четыре».

Какие проекты, какие безумные чертежи я сдавал в МИИТе! Просто не верится, что это действительно



было со мной. То, что я не стану возводить мосты и прокладывать тоннели, я совершенно ясно понял чуть не в первый же день учебы, когда на курсе «Строительное производство» увидел действующую модель бетономешалки, то есть, собственно, не модель, а самую настоящую бетономешалку, только уменьшенную раза в четыре по сравнению с обычной строительной. При желании выходящей из ее горловины смесью можно было бы что-нибудь замостить, мы и изготавливали там кубики-образцы, которые потом проверяли на прочность с помощью страшно упдающей, как нож гильотины, металлической иглы.

Бетономешалка, грязные края черного ее прорана, серая, похожая на крашеное говно бетонная смесь, которую с большим усилием надо было перемешивать мастерками — все это произвело на меня оглушительное впечатление. Потом-то, избавившись от угрозы видеть эти прелести всю оставшуюся жизнь, я, будучи тогда относительно кудрявым поэтом, научился, разумеется, поэтизировать крупички реального знания.

Бетономешалка «шух-шух» да «шух-шух» на морозе.

И снежная муфта

сыпется в грязь, где мазут под ледком.

Ось верещит фистулою врожденного люфта.

Плешь проедает, настолько мотивчик знаком.

Чтобы ворочать бетон, подготовки особой не надо.

Только — любовь. Без любви подходить не моги.

Ватник сухой, полтораста прозрачного яда,  
снег, шерстяные носки, сапоги.

Сыпать щебенку в бездонную мокрую прорву!  
Глину в песке заскорузлым совком отбирать!  
И, надрывая прогретое водкою горло,  
крановщику, словно Богу на небе, орать!

Бог высоко, задери подбородок. Такая  
мать! Бадьи подавай по одной!

Крутятся ребра, на глобусе страны мелькают,  
Мерзлый раствор затворяя водой ледяной.

У меня очень много стихов, так или иначе обыгрывающих строительные и железнодорожные категории. Все-таки их я знаю не понаслышке и — с юности, с поры, когда все очень хорошо врезается в душевную память. Жаль, что большинство более или менее профессиональных стихотворений вышло только уже в новое время в тоненьком моем сборнике «Зимнее купание», крохотным тиражом, который никто не заметил. Не так давно открыв свои первые три стихотворных сборника, я, честно сказать, поразился, как двадцать лет назад в редакциях имели со мною дело — думаю, просто потому, что стихи и большинства так называемых советских поэтов были настолько же неглубокими. А печататься мне очень хотелось; те стихи попали в общее — во всех смыслах этого слова — русло и на самом-то деле вполне годились для ничего не выражающих оптимистических публикаций. А когда я в тридцать

лет начал писать несколько другие стихи, репутация уже была создана.

Первая моя стихотворная книжка готовилась в «Молодой гвардии», когда я был еще в армии — «молдогвардейцы» посчитали красивым и политически правильным выпустить книжку служащего офицера. На содержание книги я тогда не мог влиять, да и содержания, по правде сказать, никакого там не было, потому что из-за моего замедленного поэтического развития, о котором я уже упоминал, стихи двадцатипятилетнего автора были совершенно юношескими. Со второй книжкой я связывал большие надежды — прежде всего по вступлению в Союз писателей. О, как в него хотелось вступить! Вступить и сидеть каждый вечер в нижнем буфете Дома литераторов.

К сожалению, в издательстве «Современник» мне достался незабвенный редактор Александр Тихонович Волобуев, ужасный графоман и упрямый, как осел. Попросту говоря, мудака. Он сделал все, чтобы изуродовать почти каждое из допускаемых им в книгу стихотворений и не допустить ничего, хоть как-то имеющего отношение к поэзии. Сейчас я думаю, что он делал это сознательно. Зачем? — вот вопрос. Впрочем, возможно, он искренне восставал против всего, чего не мог понять. А понять он не мог многое. В результате моих компромиссов с Волобуевым родился тощий уродец, который, конечно же, сильно удивил даже Приемную комиссию СП, состояв-



шую зачастую совсем не из Платонов и быстрых разумом Невтонов.

Надо было вместо улыбок и виляния хвостом просто послать редактора на хуй и отказаться от издания книги, которая меня совершенно не представляет, но я не понимал, что рассказ о том, какой я на самом деле, не прищипишь к каждому экземпляру сборника, в котором напечатано только то, что напечатано. Да и помыслить тогда было невозможно, что я так вот пойду и откажусь от книги, которую ждал пять лет.

Увы, печальный опыт меня ничему не научил. В «Воениздате» с армейской поры лежала рукопись, составленная в основном из стихотворений, которые я по приказу Начальника Политотдела бригады полковника Овсянникова писал для окружной газеты. Полковнику было приятно, что у него служит армейский поэт. О качестве этих стихов говорить не приходится, я их тачал не отходя — увы, не от кассы, а хоть от проверки кухни во время дежурства по части. Аты-баты. Увы, тогда я не понимал, что подобные вирши писать вредно для поэтического здоровья. Я расчетливо полагал еще во время службы, что я пройду с этими стихами рецензирование (и не ошибся в рецензентах «Воениздата» — прошел), а потом успею заменить стихи другими. Конечно, в дураках остался я, а не «Воениздат». Причем редактор Карасев мне честно старался помочь, но ничего у нас не вышло. И опять мне стало



жаль не издать совершенно плевый, тонюсенький сборничек.

Поистине, черного кобеля не отмоешь добела. Уж совсем недавно, в новом тысячелетии, при выходе моего нового романа в новом же, только что учрежденном издательстве, все диалоги царственных особ, а роман т.н. «авантюрный», речь в романе идет о страстной любви, о делании фальшивых бумажек и — об Екатерине Великой, Александре Благословенном, его жене, Павле Петровиче, Марии Федоровне — все Романовы, понятно, говорят, как им и положено, по-французски и по-немецки, и я, толком не знаючи ни того, ни другого языка, немало трудов положил, чтобы они именно так в романе и говорили, так вот: все диалоги издательство в ультимативной форме пожелало видеть на русском. В результате книга потеряла значительную часть своей ауры — потому что я не нашел в себе силы после нескольких лет непечатанья настаивать на своем, рискуя не выпустить роман. Согласие на компромисс, как водится, не принесло съедобных плодов — я каждый раз испытываю теперь чувство досады, когда смотрю на книжку. И уж теперь дал себе твердое слово, что все мои следующие книги будут выходить только в том виде, в котором они и были написаны. Слепэц казав: побачэмо...

## 2.

Да-с, так и поступил я в МИИТ. Думаю, что при моем уровне подготовки поступить в какой-нибудь другой ВУЗ мне просто бы не удалось. И в школе, и потом в обоих институтах я всегда был троечником. Хвастаться тут, конечно, нечем, но я и не стыжусь особенно. Троечником был, например, писатель, который подписывал свои произведения так — А. Пушкин, который, помимо всего прочего, считался еще и одним из умнейших людей своего времени. Литературные, во всяком-то случае, навыки я получил вне учебного заведения — в книгах, которые меня действительно интересовали и при общении с людьми, которые действительно могли чему-нибудь научить. Коль речь об этом зашла, хочу с благодарностью упомянуть ушедших Владимира

Николаевича Соколова и Вадима Валериановича Кожинова — они и при жизни своей знали, конечно, что я им горячо благодарен, но лишнее слово будет нелишним, я просто не могу его сейчас не произнести. С Кожиновым мы задолго до его смерти по причинам идеологическим разошлись, но я никогда не забуду, что именно он сделал меня профессионалом. А многолетнее общение с Соколовым — крупнейшим, на мой взгляд, послевоенным поэтом России и совершенно замечательным человеком — давало мне огромный потенциал — и творческий, конечно, и тоже просто человеческий. Так что, если я нынче не так-то совершенен, в этом виноваты уже другие люди.

А я не виноват.

Да-с, так на втором курсе МИИТа масса полученных железнодорожно-строительных знаний уже достигла критической, да и стихи я как раз начал писать. Но попытки антижелезнодорожного бунта не удались. Я, правда, ушел в академический отпуск, год бездельничал, потому что нельзя назвать делом то, чем я занимался — преподавал вождение мотоцикла вьетнамцам, учащимся в МИИТе (в СССР тогда куда легче было получить мотоциклетные права, чем во Вьетнаме, а советские права там действовали) и ходил с отцовской гидрологической партией и ее отдельными частями по России, в Сызранской, Тамбовской и Пензенской областях — пешком, как Максим Горький, разве что ведра с со-



бою у меня не было. Ну, и, конечно, часто подскакивали на попутных.

Основную мысль своих сорокалетних гидрологических изысканий отец всегда выражал такой высоконучной формулой: «чем больше зимою снега, тем больше весной воды». И настаивал на собственном приоритете сего открытия. Поэтому работа в основном сводилась к проверке отметок на колышках-вешках, забитых в обозначенных местах по руслам рек, и в измерении скорости течения.

Надо было по колено — или по шею — в воде выбираться на самую стремнину, держа в руках так называемую вертушку — маленькую турбинку, насаженную на полый стерженек. Вращение турбинки индукировало ток, и отклоняющаяся стрелка вольтметра, соответствующим образом градуированная, показывала скорость течения. Контролировал устанавливаемую скорость течения и звонок, срабатывающий через определенные промежутки времени, и по этим промежуткам скорость определялась тоже. Словом, чудо техники.

Сложность заключалась в том, что турбинка была-таки зверски тяжелой, а держать ее требовалось строго перпендикулярно течению. Кроме того, от нее тянулись на берег провода, потому что человек с вольтметром и звонком сидел, разумеется, на берегу. Так что иногда приходилось на быстрине прилагать все силы, чтобы, во-первых, вообще не

упасть, во-вторых, аккуратно, не путая их и самому не запутываясь, с каждым шагом все больше разматывать провода с катушки, висящей через плечо, а в-третьих, правильно держать и вовремя включать и выключать проклятый прибор.

Падал я, конечно, несчетное число раз, воды нахлебывался, пока не научился вовремя закрывать глотку. Но, в общем, мне то лето понравилось — тогда я не понимал, а сейчас думаю, что — тем самым ощущением свободы и легкости бытия, которые меня — на самом-то деле — привлекают всю жизнь. Девки в деревнях были благосклонны, я тогда впервые в жизни понял потрясающую прелесть занятий сексом на настоящем сеновале. Повторяя блатную в режиме танго песенку моего детства, можно сказать, что я «был для них почти что иностранец» и не подхватил даже триппера. Парни же деревенские ни разу не успели осуществить своих прав сеньоров, потому что ни в одной деревне мы больше суток не останавливались, а это идеальный отрезок времени для любви. День для работы, вечер уходит на обольщение, а утром мы снимались и отбывали на первой же попутке или успевали сделать бросок километров в пятнадцать.

Помню, как мы заблудились в плавнях какой-то тамбовской речки. Идем в одну сторону — топь и топь, камыш и камыш, в другую — то же самое. По карте ни хрена понять нельзя — не соответствует, что очень часто бывает, карта местности, карты кри-

вые, потому что — военная же тайна, мать их душу греб, со своими дурацкими тайнами. Вываживаешь и вываживаешь с хлюпаньем резиновые сапоги из жижи, то и дело цепляя ими за корни деревьев, и постепенно начинаешь понимать, что моросит дождь, быстро темнеет, ты усталый, голодный и холодный — и мокрый! — и не то, что прилечь, присесть некуда, и за несколько километров нет ни одного человека. Как у Толстого в, кажется, «Плодах просвещения» — это... тае... Тае... Но выбрались.

Еще прекрасно помню, как я был послан в областной город за какой-то корреспонденцией. Вечером меня добросили на машине до полустанка, где я перед запертой кассой улегся головой на рюкзак и спокойно заснул — тогда стояли такие благословенные времена. Проснулся я вместе с рассветом.

Розовый парок поднимался от земли. Ни одного человека не замечалось нигде. Только в дальнем тупике тихо пыхтел паровоз, воспринимающийся как часть природы. За ним, в прореженном тумане, лежала открытая земля — холмы и перелески, реки и озера, словно бы разнокалиберные зерна, причудливо брошенные на пашню равнодушной рукою сеятеля, и всю картину Божьего мира дополняли рассекающие туман лучи встающего солнца, словно бы на картине какого-нибудь «большого голландца». Чувство счастья и молодости наполнило меня — пожалуй что, у меня не так много было в жизни таких рассветов.



Подошла, тупой мордой вырастая из пространства, электричка, я вошел в тамбур, двери закрылись за мной.

А еще в это лето нас с напарником в городе Кузнецке арестовали на вокзале как шпионов.

До Кузнецка мы откуда-то ехали в набитом битком «ПАЗике», где среди направляющихся на рынок бабок с крынками сидел комплексующий и томящийся от невозможности осуществить государственную власть милиционер. Он что-то спросил у нас — чудо же, двое бородатых малых с рюкзаками, — и два молодых дурака — не помню уж, как, но как-то высмеяли мента. Кроме того, мы достали карту — карту! — начали что-то высматривать в ней, шепотом (!) совещаясь и, самое главное, в одном из рюкзаков вдруг замкнуло на вертушке контакты и раздался довольно-таки громкий звонок:

— Трррррррр!

Мы спокойно на перроне ждали поезда, когда я вдруг обратил внимание, что нас как-то незаметно, исподволь, окружило довольно большое количество одинаковых и довольно крепких с виду молодых людей. Я сделал шаг, чтобы выйти из круга, и один из этих молодых людей молча грудью пихнул меня обратно. Слава Богу, я из-за удивления не успел его ударить — силы были уж явно не равны. Теперь ребята уже стояли совершенно плотной стеною и все сверлили нас глазами. В круг вошел милицейский

майор и предложил пройти по-хорошему, потому что у нас в рюкзаке рация.

В вокзальном отделении милиции мы под пристальным взглядом сбежавшихся посмотреть на шпионов-ментов и влетевшего запыхавшимся мужика в ковбойке выложили на стол опутанную проводами вертушку, вольтметр, трусы, носки, мыло с зубными щетками, блоки столичной «Явы», пачки подмосковных советских презервативов, банки с консервами, краюхи хлеба и огромную гору подаренного мне в последней деревне зеленого лука — девчонка, с которой я там спал, случайно, в разговоре, узнала, что я очень люблю зеленый лук и на прощанье за бессовестное обещание писать наградила меня витаминами, совершенно, по-видимому, опустошив родительский огород — это был мой первый гоночар. Лук в товарных количествах вызвал не меньшее подозрение, чем гидрологический прибор. Такое же подозрение вызвал и рулон туалетной бумаги. Видимо, за пиперфакс в районе признавалась только ежедневная «Кузнецкая правда», а разматываемая с рулона бумага более всего подходила, по мнению аборигенов, для начертания на ней криптописи.

Ксивы у нас тогда были не то, что нынешние, закатанные в пластик удостоверения или бейджики на «крокодильчиках». Они представляли из себя огромные, складывающиеся, как газета, простыни чуть ли не размером А3 — почему-то фиолетового

цвета. Бумаги эти, не больше и не меньше, чем от Академии Наук СССР, испещрены были круглыми фиолетовыми же печатями. Менты и штатский благоговейно изучили печати. Штатский ковбой выглядел очень разочарованным. Но все равно держали нас очень долго, звонили в Москву в надежде, что мы все-таки окажемся самозванцами, и мы тогда попали на нужный поезд только потому, что поезд, как водится, опоздал часов на пять.

В то лето я понял не только милейшую простоту нашего населения, но и как в центре России, а не в Сибири, продолжает существовать глухомань.

Дело в том, что у нас все населенные пункты ориентированы на районные центры, дороги сугубо радиальны — если, конечно, они есть: от центра к селам. Чем дальше от райцентра, тем глуше, а в самой дали самая, понятное дело, глушь. И между краем одной области и выходящим к нему краем другой — полная, ну, то есть, стопроцентная глухомань. Здесь поистине край Ойкумены. Между граничными деревнями соседних областей лежит нехоженная — чуть не написал «тайга», но в самом деле. Жители пограничных деревень друг к другу не ходят и не знают друг друга, хотя прекрасно знают, что происходит в деревнях, лежащих между ними и райцентром, часто за десятки километров. А в ту деревню, деревню другой области, как правило, и тропинки нет. Между деревнями можно, как отшельнице Екатерине Лыковой, полвека зап-



росто скрываться от людей, и никаких корреспондентов на вертолетах к тебе не пошлют. Нет там ни корреспондентов, ни вертолетов. Поэтому когда мы в деревнях говорили, что сейчас пойдем напрямик через лес *туда*, в соседнюю область, на нас смотрели, как на людей, выразивших желание полететь сейчас — непосредственно, как Илья Муромец, с печи — прямо на Марс. Впрочем, сомневаюсь, что в деревнях многие слышали и про красную планету.

— Тропинка-то есть, дедушка?

— Не-е... Эт, слышь ты, чарес область те надоть, куды ж напрямки... Заблудисси... А давай, слышь ты, ишшо покурим папиросов твоих.

— Сигаретов. На. Там какая деревня? Ляхово?

— Не зна-ам...

Глухого леса в таких местах действительно бывает — тоже — десятки километров, и заблудиться, как уже понятно, вовсе не сложно. А без дорог, повторю я здесь трюизм, никакое просвещение, на перманентных контактах основанное, невозможно.

Но, кстати, о корреспондентах и контактах. Мой последний прекрасный контакт с деревней произошел вскоре после демобилизации, когда я через год работы в «Гудке» устроился работать в отдел литературы журнала «Студенческий меридиан». Об этом контакте стоит рассказать особо, хотя я решил писать здесь только об армии, о моей железнодорожной газете и о поступлении в Литинститут. Событий-

то других и поздних — более чем достаточно, но это, давнее, уж очень хорошо иллюстрирует жизнь и, кроме того, как-никак, связано с литературой.

Тогда — это была зима 1977-го или 1978-го года — только что прошло очередное Совещание молодых писателей — очередной комсомольско-литературный шабаш, на который, впрочем, стремились все не только темные, но и светлые силы, потому что это был короткий путь к публикациям, книгам и приему в СП. У нас же все делалось по плану и по разнарядке, надо было попасть в струю, по возможности не очень в этой струе выпачкавшись, чтобы от тебя не воняло. А потом, коль скоро ты уже был посчитан, двигаться было легче. Разумеется, все это вскорости же оказывалось грандиозной иллюзией, и очень редкие из нас (я — нет, говорю ж — запоздалое развитие) понимали, что главное то, *что* ты пишешь, а не то, куда тебя пустили. Но понимание приходит только с возрастом.

Я тоже в таком Совещании участвовал еще в первый год службы. Когда в бригаду пришел вызов, ему в Политотделе почему-то придали слишком, мне кажется, большое значение. Вызываем для проникновенных бесед я был несчетное число раз, пока мне милостиво не разрешили брать билет в Москву. Потом я узнал, что в Политуправлении войск уже решили — армейскому железнодорожному поэту — быть, так что в бригаде напрасно надували щеки. В Совещании участвовали несколько молодых офи-

церов, из Желдорвойск я был поначалу единственный — потом объявился еще один очень приятный, но писавший совершенно графоманские стихи капитан с БАМа, помню даже его фамилию — Виноградов. Еще помню, как полковник из Политуправления нас с капитаном инструктировал перед началом Совещания:

— Сначала будет общий сбор, а потом все разойдутся по родам войск: летчики отдельно, танкисты отдельно. Вот тут вы и должны будете высоко поднять знамя Железнодорожных войск...

И мы, не моргнув глазом, сей инструктаж выслушали и поблагодарили за науку — армия...

Да-с, прошло новое такое же Совещание, и у нас в «Студенческом меридиане» давали разворот стихотворений участников. Среди них оказалась жительница костромской глубинки — поэтесса, по совместительству главная агрономша совхоза. Моя замечательная начальница решила поместить вместе со стихами интервью одаренной агрономши и отправила меня в командировку.

Хотите верьте, хотите — нет, но мне удалось из редакции дозвониться через несколько коммутаторов до костромского села, позвать агрономшу и связно объяснить ей — перед поездкой я не был уверен, что меня все-таки поймут — цель предполагаемого визита и сообщить номер поезда и номер вагона. На моей конечной станции московский поезд стоял ровно одну минуту.



Приключения начались еще в поезде, даже — еще до его отправления. Явился я в вагон прямо со свадьбы (выходила замуж приятельница, и я прибыл на свадьбу в синем свитере и со спортивной сумкой, сдал невесту с рук на руки хорошему человеку и прямо оттуда поехал на вокзал) и, понятно, в довольно сильном подпитии. В купе сидели маленькая очкастая барышня лет двадцати и сорокалетняя супружеская пара — тоже маленькая, но толстенькая бабочка и тощий жилистый мужик. На столике стояла играющая «Спидола» — тогда это был чуть ли высший (для простых-то людей) радиобытовой шик.

Время уже было позднее, часов уж двенадцать точно, поэтому я забрался кое-как на верхнюю полку и, как только проверили билеты, предложил погасить свет и выключить шарманку. Но мужик заявил, что он желает слушать музыку, чего в темноте делать невозможно. И закурил себе прямо в купе.

А у меня, надо сказать, сильнейшая аллергия на звучащие игрушки. Я одинаково не выношу, меня просто начинает ломать, когда играет радио в машине и когда во всю ивановскую гремит музон в парке в выходной день. Мне кажется, это оскорбляет человечество. Во всяком случае, нормальную его часть. Братки, врубающие у себя в машинах магнитолы так, что лопаются барабанные перепонки даже за десятки метров (что у них, сидящих в самой машине, в голове?) представляются мне опасными для общества прежде всего именно по этой причине. А людей, на-

ходящихся, например, в самом прекрасном месте на свете — в подмосковном лесу и включающих там «музыку», я совершенно искренне считаю дебилами и подлежащими самому суровому наказанию, как минимум, интернированию. Так бы и повесил их на суку с дощечкою на груди «Он шумел в лесу». Но разумнее ножные кандалы, в руки кайло, отбойный молоток или бензопилу «Дружба», в уши наушники-«капельки» — вали себе лес или рубай уголек под музыку, будешь хорошо трудиться — вечером тебя запустят в помещение со стопудовыми динамиками, бьющими прямо по башке. Жаль, что сей прекрасной мечте не суждено сбыться.

Я не прошу прощения за отсутствие толерантности, я не толерантный человек.

Тогда же я слез с полки и выкинул мужика из купе. Мне, несмотря на опьянение, хватило ума не шваркать его по морде, а просто выбросить, поэтому мы несколько мгновений возились — тот цеплялся за стальной косяк двери, как клещ за голую жопу, а я бил его по пальцам. Во время борьбы бабочка подначивала меня:

— Так его, паразита! Так ему и надо, гаду! Всю жизнь мне испортил, идиот!

Но, когда я в злобе схватил со столика «Спидолу» и собрался было выбросить ее вслед за хозяином, страдалница такой же мертвой хваткой мгновенно вцепилась в меня, голося «Не надо! А это не надо!»

Я поставил радиолу на место, выключил свет, забрался наверх и лег. Наивный! Тут же раздался оглушительный грохот — мужик, ясное дело, барабанил в дверь. Я его впустил, взяв обещание вести себя тихо. Он кивал. Я снова лег, и тут же, в ту же секунду, в темноте раздался душераздирающий вопль. Я в автоматическом режиме вскочил и со всего размаху ебнулся башкой о потолок, так что вслед за девичьим воплем послышался мой раздраженный мат.

Сознательно ли дурак полез к девчонке на полку или, что вероятнее, просто перепутал места, но поезд *остановили*, явился милиционер и начал оформлять заявление о попытке изнасилования. Меня записали в свидетели, причем мента совершенно не интересовало, что я тоже пьян. Я заявил, что никакого изнасилования не видел, а только слышал крик. Тогда мент предложил мне расписаться внизу пустой бумаги. Ему очень не понравилось, когда я крупно написал по разграфленным линейкам протокола «Я только слышал крик, ничего не видел» и между графою «подпись свидетеля» и написанным поставил огромный латинский «Z» — так, чтобы ничего вписать в протокол уже было бы невозможно.

Мент секунду явно размышлял, не переквалифицировать ли меня из свидетелей в соучастники, но только устало вздохнул, спросил паспорт, переписал паспортные данные, спросил о месте работы, записал мои редакционные атрибуты в тот же протокол, спросил о цели моего путешествия и тоже



что-то там записал у себя. Парочку увели. Я вновь погасил свет, но поспать толком так и не удалось.

— Какая интересная профессия — журналист, — раздалось снизу. — А сами вы стихи пишете?

— Да!

Я почувствовал, что окончательно протрезвел, и полез вниз. Узкие деревянные полки в купейных вагонах совершенно, надо признать, для сексу не приспособлены. В мягких — другое дело, и потом много лет я ездил с подружками прошвырнуться в Питер в мягком. Купе на двоих, относительно просторные мягкие сиденья, а в гостиницах-то тогда спрашивали паспорт с отметкою о браке. А тут мы в дороге спокойно использовали купе по назначению — ну, разве что дашь треху проводнику, день проводили в Питере и — назад. Милое дело, и относительно недорого было.

А барышня из поезда «Москва-Кострома» потом довольно долго писала мне на редакционный адрес, но я постыдно ни разу не ответил и все ждал, что она пришлет телегу на имя главного редактора с требованием восстановить потерянную в поезде невинность. Но обошлось, хотя совершенно прелестно, что наш блистательный отдел писем систематически распечатывал личную мою корреспонденцию, регистрировал письма барышни с ее навязчивыми признаниями, и, поскольку на признаниях стояли теперь номер и число, требовал в десятидневный срок обязательного, как и всем трудящимся, ответа.

Я сошел по рифленным вагонным ступенькам морозным утром. Поезд, как будто только и ждал моего исхода, тут же с тихим скрипом тронулся за моей спиной. Градусов было, не соврать, не меньше двадцати пяти, снег под ногами с каждым шагом трещал, как разрываемый коленкор. Мороз висел в воздухе в виде мелкой снежной крупы, не сыпавшейся с неба, а словно бы поднимающейся с земли. Стояло предо мной заваленное снегом станционное здание, похожее на сортир в Парке культуры и отдыха, еще какие-то непонятные собачьи будки, от которых поднимался пар, и сразу же за ними густою сказочной стеной высился непроходимый еловый лес, острые оконечности деревьев сильно втыкались в голубое небо. Никто меня, разумеется, не встречал.

Признаться, я не очень-то огорчился. В молодости ничто не могло меня остановить, как бравого солдата Швейка, который упорно шел на фронт из Нижних Будейовиц. Я, помню, предпринял совершенно идиотическую попытку найти на станции кофе, потому что без кофе я никак не представляю себе начало дня. Редкие туземцы дико смотрели на меня и ничего не отвечали, будто само слово «кофе» тут никто не слыхивал. Зато название нужной мне деревни все знали и на вопросы «Где это?» и «Как туда доехать?» единодушно и единообразно куда-то в сторону махали рукавицами и отвечали: «Далё-о-ко!»

— Туда ходит автобус?

— Авто-обус?

И вновь люди с ужасом смотрели мне в лицо, как будто слово «автобус» мог произнести только сатана. Оставалось полагаться на случай, и он тут же пришел мне на помощь.

Я вышел на площадь перед станцией. Тут стоял только одинокий тентованный ГАЗончик, шофер копошился под поднятой крышкой двигателя. На вопрос, не подвезет ли он меня до ... — забыл название деревни — шофер молча кивнул.

— Сколько возьмете?

Он так же, как и все его земляки, махнул рукой. Я залез в кабину.

Писательская привычка спрашивать тут же поперла из меня в тепле. И тут выяснилось, что мужик *встречает именно меня*, вот простота! Дальше — больше. Постепенно я вытянул из молчуна, что он не шофер, а... директор совхоза. Еще через десяток километров выяснилось, что главная агрономша и поэтесса — его жена. Я только головой крутил.

Ехали мы по зимнику. Весною зимник, разумеется, уплывал, а летом, если стояла сухая погода, по нему можно было, по уверениям моего встречающего, запросто проехать на тракторе. Так вот народ там жил и, не сомневаюсь, живет до сих пор. Правда, судя по дороге, по ней только что, ну, вот, буквально только что прошел мощный грейдер. Это меня удивило. Гипотетический грейдер никак не



вписывался в дивную патриархальную картину русского севера. Все объяснилось очень скоро.

Когда мы, наконец, въехали в деревню, первое, что я увидел — мотоцикл гаишника у съезда с дороги и самого закутанного и почему-то засыпанного снегом гаишника, похожего на елочную игрушку. ГАИ в таком месте — феерия, и я спросил, что страж порядка тут делает. Везущий меня директор вместо ответа высунулся из кабины и закричал гаишнику:

— Ну, так что?

— Нет! Все-таки нет! — так же в голос ответил тот, добавил распространенное ругательство, немедленно сел в седло и укатил прочь, вываливая из выхлопной трубы треск и бело-дымные клубы конденсата.

Не буду томить читателя — в то утро совхоз вдруг собрался посетить первый секретарь, да не райкома, а обкома! Вот почему дорогу только что почистили. Секретарь было собрался и еще рано утром — передумал, поэтому директор смог выехать ко мне на станцию и весь стол, приготовленный секретарю и его свите, достался мне одному.

Это был длинный стол в просторном директорском срубе, изготовленном, кажется, не из сосен, а из баобабов, настолько огромными казались составлявшие его бревна. Ничего экзотического, конечно, не было тут — если не считать экзотикой разнообразные грибки, соленья, моченья, салатики, пирожки, кулебяки и так далее. Вяленое мясо, жа-

ренное мясо, копченое мясо, такое, сякое — мне не хватает кулинарных знаний, чтобы продолжить перечень. И — родимая собственного, как я подозреваю, производства в запотевших с холода граффити-чихах. *Кофе не было.*

Нечего и говорить, что с голодухи, с устатку, с нервотрепки и с недосыпу я немедленно нарезался, как зюзя. Опохмел перешел в следующую — или, если хотите, — в предыдущую, со свадьбы, стадию. Кроме того, все казалось таким вкусным! И я чудовищно обожрался. С формальной точки зрения моя командировка тут и закончилась, по сути, не начавшись. Но не закончились, как вскоре выяснилось, приключения.

Помню, как я не мог встать из-за стола — то ли из-за опьянения, то ли из-за того, что выпятившееся брюхо жило собственной жизнью и тянуло вниз. Помню злобные и завистливые мысли об областном партийном аппарате, который, во-первых, не приехал, оставив мне тяжкую участь сокращать пищевые редуты в одиночестве, а во-вторых, имеющем, по всей видимости, возможность ежедневно эдак-то пить и есть на халяву. Ссуки, блядь, партийные! Помню, как меня по бесконечным бревенчатым коридорам, переходам и лестницам вели писать. Дом представлял собою чуть ли не царские хоромы ранней, докаменной Руси, там бы кино теперь снимать. Помню, что при всем при том канализация была сконструирована на основе элементарной выгреб-

ной ямы, что я сквозь туман в башке со смешком и отметил, качаясь вокруг испускаемой струи, как ракета на взлете. Тангаж. Помню, как меня уложили спать и накрыли какой-то теплой попоной.

Разбудили меня, когда уже начало темнеть — надо было собираться в обратный путь, поезд вряд ли стал бы ждать. Продравши глаза, я попросил директора отметить мне командировку, а поэтессу — сделать на своем тоненьком поэтическом сборничке дарственную надпись, позволяющую мне говорить от ее имени. Она послушно написала: «Позволяю Игорю Тарасевичу говорить от моего имени».

— Добавьте: «его текст интервью со мной я авторизую», — попросил ушлый гость.

Она написала и это. В Москве я в два счета накатал интерву, и все остались довольны. В общем, не смотря на свои стихи, девушка оказалась простой и милой. Оба супруга, надо признать, проявили верх терпения. Впрочем, к пьяным в народе всегда относились с сочувствием, да и директор с агрономшей, вероятно, так и предполагали, что московский корреспондент станет вести себя, как свинья. Я их ничем не удивил.

Директор посадил меня в ту же самую машину и привез на станцию. Практически всю полуторачасовую обратную дорогу я проспал. Он под локоток вывел меня из кабины и устроил в зале ожидания на лавку. Уже давно совершенно стемнело. Остатки совести заставили меня усиленно отправлять дирек-



тора домой и не ждать прибытия поезда. Он спорил, но вскоре уступил. Мы тепло распрощались. Борясь с волнами сна, я достал единственное доступное мне чтение — книжечку моей агрономши и попытался сделать над собою усилие, чтобы читать. И тут вошла компания парней в двадцать.

Ну, на костромском полустанке человек с черной бородой — чуждое и даже враждебное явление. А тут он еще *читает* какую-никакую, но книгу! Явный враг. К тому же жизнь у ребят скучная, кроме водки, развлечений никаких, станция — единственный очаг культуры. Компания тут же направилась ко мне. Уж не помню, какой завязался диалог, не буду врать. Но помню, что как раз объявили (!) — наверное, только по двадцатиметровому, не больше, залу ожидания — о прибытии моего поезда. Я сунул левую йоку<sup>2</sup> под колено парню, стоявшему между мною и дверью, ринулся в образовавшийся проход и *побежал*. Побежал.

Только что я пускал слюнявые пузыри по бороде и, опираясь на локоть, полулежал, как патриций, разбросавши по сторонам ноги и изо всех сил, впереяся в ужасные стихи агрономши, старался не заснуть, потому что остатки сознания говорили, что иначе я пропущу поезд. Только что я и помыслить не мог, что способен передвигаться иначе, нежели чем ползком и мысленно собирался с силами для

---

<sup>2</sup> Сильный каратистский удар ребром ступни.

последнего за эту замечательную командировку броска. Только что я мог теми же самыми остатками сознания проследить неспешное движение мысли и рефлекторного сокращения мышц: мысль «надо передвинуть ногу» отчетливо прокручивалась под черепом, медленно, как дождевые капли по стеклу, стекала по позвоночному столбу, медленно через ягодицу шла к ноге, медленно — мне даже казалось, что со звуком срабатывающего реле и тихим и сладким рокотом электродвигателя, как в роботе — медленно мысль включала мышцу, и нога, дернувшись, словно нога несчастной лабораторной лягушки, с отчетливым временным лагом передвигалась. А тут я вдруг, вскочив, провел жесткую йоку, причем — правильно, с доворотом опорной ноги, иначе я просто порвал бы себе сухожилия в паху. А тут я побежал, и довольно быстро, гигантскими скачками, как антилопа, успев прихватить и сумку с полу, и книжицу. Поистине, возможности человеческого организма беспредельны. Мои оппоненты, мешая друг другу и изрыгая матерщину, застряли в двери.

Я вылетел на свежий воздух. Поезд втягивался на дальнюю платформу. Если бы там были, как в Подмосковье, высокие дебаркадеры, с одного из которых я как-то в Барыбино падал спиной прямо под электровоз, поистине Бог тогда спас, но это совсем другая история — если бы там, говорю, были бы дебаркадеры, уж на поезд я не попал бы точно, через

дебаркадеры мне пришлось бы просто перешагивать, как Гулливеру, хотя, может быть, тогда я бы и перешагнул, кто знает. Ким билир, э? Ким билир.<sup>3</sup> Но там были плоские низкие платформы, занесенные снегом. Я поскакал по шпалам, туземцы — за мной. Все это ужасно напоминало погоню васюковских шахматистов за гроссмейстером О. Бендером, только о шахматах ребята тут ничего не слышали, и в руках у них вместо шахматных досок, догони они меня, появилось бы элементарное дубье. То есть, убили бы точно, тем более, что я в автоматическом режиме нанес аборигену довольно подлый удар — йока под колено просто сносит ногу с сустава, такой удар не имеет отношения к восточным единоборствам и уместен только в мгновения борьбы за жизнь. Ну, возможно, такие мгновения тогда и текли.

Поезд, осыпая с крыш вагонов снег, со скрежежом остановился, я бросился к своему вагону — закрыто! Шахматисты уже в нескольких метрах. Я пробежал еще один вагон — закрыто, только лед на двери! На дальнем, еще через один, вагоне горел над тамбуром фонарь с цифирью, в высоком проеме стояла проводница. В последнем рывке я подбежал, забросил прямо ей под ноги сумку и с воплем «Есть билет!» рыбкой, как учили на тренировках, подпрыгнул и нырнул в тамбур, грохнулся там на пол.

---

<sup>3</sup> Кто знает (тур.).



Тут же я перекатился на спину и успел еще несколько раз сунуть пятками в лезущие по ступенькам рожи. Поезд тронулся, я еще некоторое время лежал, приходя в себя, и, наверное, опять бы заснул, если бы проводница довольно бесцеремонно не пошевелила меня ногой:

— Эй! Мужчина!

Осталось добавить, что последнее потрясение я испытал, пройдя через несколько вагонов и предъявив, наконец, билет своему проводнику. Он молча откатил предо мною дверь купе, и я чуть не упал навзничь, отшатнувшись. На всех полках — и нижних, и верхних, свешивался частокол голых ног — сидели человек, не соврать, тридцать мальчишек в одних трусах, и все, как один, *курили*. Воздух (если уместно это слово) висел даже не серого, а просто бурого цвета, клубы бурого дыма вывалились из открытой двери купе в коридор. Какое-то ПТУ ехало с практики — по десять человек на одно купленное место. Как они там не потравились диоксином — загадка, потому что купе сильно напоминало армейскую палатку для испытания противогазов. Такую палатку герметически закупоривают, набуровливают туда газу и запускают личный состав в противогасах, а кто, как говорится, не спрятался, или у кого противогаз дырявый, а большинство их дырявые, командир не виноват — посекундно выдержи норматив хоть в горизонтальном, хоть в вертикальном положении, как хошь.

Я закатил дверь на место, повернулся к проводнику и коротко объяснил ему, что его ждет, когда я сейчас, как корреспондент центрального издания, подниму скандал — если, конечно, он не предоставит мне немедленно приличной койки.

Всю обратную дорогу я спал один в совершенно пустом купе и, наконец, впервые за несколько дней нормально выспался.

### 3.

Именно тогда, кстати сказать, в тот год академического отпуска, во время преподавания автодела, я понял, почему американцы не смогли победить во Вьетнаме и почему вьетнамцев так не любят на Юго-Востоке. Потому что вьеты обладают поразительным упорством и никого не желают слушать и понимать. Хучь убей. Разумеется, оное непонимание можно отнести и к недостаточным педагогическим способностям преподавателя, что в моем случае, вполне возможно, имело место. Не очень помню, что мне удалось чему-нибудь их научить.

Я тогда занимался мотокроссом, но обучение вождению никоим образом не было связано со спортом.

На асфальте — или на снегу, потому что обучение и сдача экзаменов производились и зимой, и я сам в 16 лет сдавал экзамены на мотоциклетные пра-



ва именно зимой — наносилась нехитрая разметка. Помнится, прямая дорожка, потом восьмерка, змейка и линия точной остановки. Взыскующему прав следовало проехать все это (на дорожке — с одной рукой на руле), ни разу не остановившись и ни разу не коснувшись ногой поверхности Земли.

В середине 60-х я как-то в воскресенье явился на площадку перед одним из входов на ВДНХ — возле Рабочего и Колхозницы, теперь там подземный паркинг и машины продают. Стоял промозглый зимний день, земля была покрыта то подмерзающей, то сочащейся ледяной корочкой, ветерок небольшой давил — словом, все вызывало ощущение мерзости, как и предстоящая сдача экзамена. Площадка, разумеется, была вся во льду, да и стоял я попервоначу на ней лишь один. Но постепенно подтянулись еще человек десять.

Возникла дискуссия — приедут менты в такую погоду принимать экзамен или не приедут. Решили, что все-таки приедут — обязаны. Двое из нас отправились в ближайшую «бакалею» за солью, несколько, и я в том числе — по окрестным стройкам искать лопаты. Смешно, но за ближайшим же забором, где стоял тихий, посвистывающий ветром в пустых глазницах окон, недостроенный дом, я сразу, как влез в дыру в заборе, увидел лопату. Она стояла, прислоненная именно к бетономешалке — тяжелая, заляпанная застывшей смесью штыковка. Ни единого человека в воскресенье на стройке не было.

Еще один соискатель спер где-то настоящий дворницкий инструмент — окантованный фанерный лист, пришпандоренный к длинной деревянной ручке. Мы принялись посыпать площадку солью, сбивать лед и очищать поле боя. Тут из-за поворота вывернул тентованный ГАЗ-53, в кабине сидели двое ментов, а в кузове стоял на распорках стосемидесятипятикубовый мотоцикл «ковровец». Гаишник вылез из-за руля, покрутил носом и махнул рукой — ладно, давай.

Подчеркиваю, что в годы ужасного брежневского застоя я получил мотоциклетные права без всякой взятки, как потом и права на вождение автомобиля.

А вьетнамцы под моим руководством прав, насколько я помню, не получили. Ни один. Правда, я знаю, что потом, когда я, как блудный сын, вернулся к мостам и тоннелям, кто-то им составил замечательную «телегу» — чуть ли не в МИД, где выражалось недоумение действиями антиинтернациональных, полных равнодушия к справедливой борьбе вьетнамского народа гаишников, и азиаты тут же, не сдавая более никаких экзаменов, получили права. Все. Даже те, кто вообще не ходил ко мне на курсы.

Гаишников я вполне понимаю, потому что, как я ни бился и ни кричал, как ни хватал за руль и ни тянул в правильном направлении, ни одного из обучаемых мне не удалось загнать ни на «змейку», ни

на «восьмерку» — каждый садился в седло, трогался с места и принимался с суровым, отрешенным ликом нарезать круги по асфальтовой коробке двора внутри одного из П-образных МИИТовских корпусов, где я оттачивал свое педагогическое мастерство. Вьеты не поддавались обучению начисто. А я-то по широте души открыл им тайну своего так называемого «итальянского» способа прохождения углов, при котором «змейка» и «восьмерка» преодолеваются при практически неподвижной верхней части туловища, надо только очень активно работать попой, руками и ногами, бросая под собой машину из крена в крен. Гости столицы, уставясь, выслушали и посмотрели, но непреложно продолжали гнуть свое. Признаться, я очень быстро плюнул и предоставил ребятам кататься в свое удовольствие. Именно так через несколько лет поступили и американцы.

А я со своим замечательным итальянским методом через год вылетел с пешеходного моста на станции Удельная, по которому проходила трасса — довольно-таки подло решил подрезать соперника в узкости, думая, что тот по малодушию притормозит, но малодушные не занимаются кроссом, тот сам меня подрезал, я не притормозил и, пробив боками хлипкое ограждение, рухнул метров с трех в двадцатисантиметровую подмосковную канаву. В Подмосковье очень много речек именно такой глубины. Машина свалилась прямо на меня, несколько



не самортизировав о водную гладь. Вот если бы я вылетел, как птица, с моста через, к примеру, Гудзонов залив, машина бы меня несколько бы не повредила, а так двойной удар был, честно сказать, весьма основательным — снизу об очень близкое дно, а сверху меня через долю секунды ёбнуло собственным железным конём. Как я не свернул себе шею и отделался только одним переломом и синяками, Бог весть.

Вынужден констатировать, что мои занятия решительно всеми видами спорта всегда заканчивались одним и тем же — или гипсом; или лежанием на больничной койке.

Сначала я собирался стать Олимпийским чемпионом по беговым лыжам, и, возможно, стал бы им, потому что был чемпионом Ленинградского района среди школьников. Но в одну прекрасную зиму на льду канала — старт и, соответственно, финиш десятикилометровки находились прямо перед зданием Северного речного вокзала — проводили юниорское первенство Москвы. За несколько минут до старта школьный физкультурник подвел меня к настоящему «взрослому» тренеру. Мужик — вовсе, как можно было бы ожидать, не в шапочке с помпоном, а в странной кепке с черными наушниками — быстро осмотрел меня, пощупал, словно бы он лошадь покупал, мои ляжки, голени, предплечья, сильно надавил на ахилл и на мгновение заглянул в глаза. Не знаю уж, что он там увидел.

— Хорошо, — сказал он, — мы его заявляем в третий состав. Понял, — обратился он ко мне, — какая на тебе ответственность? Хорошо пробежишь, получишь мужской разряд. Возьмем в команду. Хочешь?

Обильная слюна заполнила мне рот. Я смог только кивнуть.

— Давай, — тренер хлопнул меня по задку и отвернулся.

Нечего и говорить, что я, словно вьетнамец, забыв все, чему меня учили — о распределении сил на дистанции, о графике бега и прочем — прямо со старта рванул вперед, как лось. Рванул, думаю, неплохо, потому что обошел я к финишу номеров, не соврать, пятнадцать, то есть, примерно на 7-8 минут опередил среднее время.

Это замечательное чувство, когда открывается второе дыхание. Ощущаешь необыкновенную легкость в теле, руки и ноги становятся невесомыми, но удивительно сильными, теплыми, и — летишь. Летишь.

Никаких коньковых ходов в то время, разумеется, и помину не было. Пойди кто коньковым ходом, особенно на финише, его бы как минимум дисквалифицировали. Я на финише шел уже не попеременным, а только в лад отталкиваясь обеими руками. Это самый спуртовый ход. Воображение и тогда у меня работало, только тогда я не умел его правильно, как нынче сказали бы, *канализировать* — в ли-

тературные произведения, и, хотя на дистанции мозг обычно почти полностью отключался, тут оставшиеся свободными извилины завертелись, и я ясно увидел себя на финише зимней Олимпиады. Какое ужасное разочарование ждало меня!

Редкий случай — судья на другом пятикилометровом конце дистанции, там, где все делали поворот, почему-то меня не зафиксировал. Того судью я очень хорошо помню — он-то как раз был в шапочке с помпоном, в черном полушубке с меховым воротником и в черных же унтах, с красной — ясно помню ее — картонной папочкой в руках.

То, что, по мнению окружающих, я элементарно сачконул, я понял только на финише. Наш физкультурник подбежал ко мне и чуть не ударил. Возможно, я нарушил какие-то его планы отличиться в отчетности или еще что.

— Беги, блядь, снова! — дико и, главное, очень глупо заорал физкультурник, выслушав ошарашенные мои заверения. — Шоб засветился нормально на повороте! Беги, блядь!

Вместо того, чтобы, опять-таки, послать преподавателя на хер, я послушно, как бобик, повернулся и побежал. Помню, вслед мне заорал что-то судья на старте, которому я испортил выводной — через каждые тридцать секунд — график оканчивающейся гонки, я не слышал и не отдавал себе отчета в том, что фиксация моя на повороте теперь все равно ничего не решит, коль скоро я выбежал, ни-



кого не предупредив, не в своем заявленном времени, и что меня опять «не посчитают». Школьный физрук, вновь отправляя меня на лыжную, не мог этого не понимать. Может быть, он вымещал на мне свои собственные комплексы, Бог весть. Я же уже ничего не слышал, кроме стучащего в ушах сердца, ничего не чувствовал, кроме работы мышц, ничего не видел, кроме ритмично выстреливаемых и выстреливаемых из-под тела острых носков лыж. На повороте я в полубреду остановился и спросил у сильно удивившегося человека в лыжной шапочке, записал ли он мой номер у себя в кондуит.

Я дошел до финиша и упал. Помню это ощущение полного извержения сил. Никто, в отличие от нынешних телевизионных трансляций соревнований по лыжам, не бросился ко мне на помощь, никто не накрыл, например, одеялом и не поднес стаканчик кофею с молоком. Я валялся на снегу исключительно в порядке личной инициативы. Только через несколько минут — может быть, и через много минут — я смог встать на колени и отцепить крепления. Помню еще, как меня шатало, словно пьяного, с лыжами на плече. Потом я несколько дней не являлся в школу — лежал пластом под одеялом. И более никогда в жизни я на лыжный старт не выходил, хотя очень люблю, разумеется, кататься на лыжах. Произошедшее — конечно, совершенно несправедливо — породило во мне отвращение к замечательному виду зимнего спорта.

Когда же я в институте занимался боксом, и имел уже 8 побед и второй взрослый разряд, меня на первенстве ЦС<sup>4</sup> поставили в пару с молодым, набравшим силу кандидатом в мастера, чего делать, конечно же, по правилам было совершенно невозможно, но тренеры, как всегда в эсэсэсэре, сами устанавливали правила — кандидату надо было легко выйти на верх таблицы, нарастить победную мотивацию и не очень устать в первых боях. Потом этот парень — через очень короткое время — стал, и совершенно заслуженно стал, известнейшим Чемпионом, причем побеждал он почти всегда нокаутом. А тогда он в первом же раунде и чуть ли не на первой минуте засветил мне так, что очнулся я только в раздевалке, спасибо, не убил. Сходные ощущения я испытал первый раз в шестом, кажется, классе, когда мы играли в «конный бой» и я со второго этажа врезал головой прямым в батарею. Так и боксерские мои упражнения закончились — мать категорически потребовала, чтобы я бокс бросил.

А когда я в последнем приступе молодости начал заниматься каратэ и имел уже красный пояс, я на элементарной тренировке неправильно поставил блок, приняв бьющую ногу спарринг-партнера не мышечной тканью ладони, а самым ребром, костью — не повернул руку. Кость, разумеется, переломилась пополам, суставы мизинца и безымянно-

---

<sup>4</sup> Центральный Совет (спортивного общества)

го пальца оказались чуть ли не у запястья. Так потом у меня ладонь правильно и не срослась.

Венцом же спортивных перипетий стали уже упомянутое падение с моста и единственный мой героический прыжок с парашютом.

Дело было зимой, нам выдали многоразовые безразмерные ватники, ватные штаны и валенки и посадили в Ан-12. Помню облеванную изнутри дверь самолета — наша группа шла по стопам предыдущих героев, уже отсюда кого-то, разумеется, в тот день выбрасывали. С двумя — основным за спиной и запасным на пузе — парашютами в этой спортодежде выглядели мы как Винни-Пухи, впору было затянуть «Я маленькая тучка, а вовсе не медведь, и как приятно тучке по небу лететь». Во всяком случае, нормально двигаться и поворачиваться было невозможно. И не до песен было — всех колотило от страха, хотя все — и я — упорно шутили что-то заплетающимися языками.

Кстати тут сказать, осмысленных действий для такого прыжка вовсе не требуется. К основному парашюту присоединен вытяжной — маленький парашютовидный зонтик, прикрепленный на карабине к металлической стенке, идущей вдоль всей кабины. Когда человек вываливается из самолета, вытяжной парашют, естественно, открывается и — вытягивает, раскрывая его, основной парашют из ранца, а потом отсоединяется от пуповины. Так что твое дело — болтаться себе на лямках, как игрушка на елке. Вот если



основной парашют не раскроется или спутается... Вот тут возможны варианты, о которых просто не хочется лишний раз упоминать. Самый безвыходный вариант — цепляние парашюта за самолетный хвост; очень редко, но такие случаи бывали. Тут можно только перерезать лямки и потом открывать запасник, а если запасника нет — все, труба.

Кстати тут сказать, меня очень раздражает заключительная сцена в одном из «джеймсов бондов», когда Бонд со спасенною красоткой сидят в надувном плоту и подхватываются летящим самолетом на трос. Здесь развесистость клюквы переходит все пределы, потому что шансов у таких спасенных — ноль, разве что каким-нибудь чудом не передать им парашюты. Ведь минимальная, даже посадочная скорость у самолетов такого класса — километров 250-300, при ударе хоть о воду из человека при такой скорости вылетит дух. Как их теперь снять с троса? Да и рывок изначальный самолета при скорости несколько сот километров в час должен быть таким, что Джемсу нашему Бонду просто оторвало бы руку.

Конечно, подобные комментарии могут быть излишними. Жена всегда говорила: «Баба-Яга не может летать в ступе! Не может! Ступы не летают!» — когда я при просмотре таких вот эпизодов тыкал пальцем в экран. Но все-таки какая-то реальная подкладка под трюки героического 007 должна существовать. Явный бред раздражает.

А когда инструктор отодвинул поразившие меня, не смотря на ступор, совершенно затрапезные, дачные туалетные щеколды на двери, взял ее, дверь, в обе руки и поставил в сторонку, из отверстого жерла в кабину ворвался ледяной ветер и колкий снежок. Пространство свистело за бортом, перекрывая рев двигателя, свет бил в глаза. На нечувствующихся ногах я подошел к дыре — из-за высокого роста я был первый по очереди — и не успел даже сделать последний шаг — под зад мне залепили здоровенного пинка. Я вылетел — аааааа! — и вниз головой, задохнувшись, провалился в бездну. Ветер обжег лицо, высек из глаз слезы, грудь мне расперла пустота. Тут же последовали хлопок и рывок открывшегося парашюта, меня резко перевернуло с головы на ноги — показалось, что лямки оборвались и я вылетаю совершенно свободным в свободное небо! Как я не обосрался — загадка.

Так вот, пришел я в себя только метров за пятьдесят до земли, и лишь собрался наслаждаться парением, как у меня с левой ноги слетел валенок — в нем прыгали, наверное, целые поколения таких же «чайников» как я, и валенок, и так вытачаный на Геркулеса, еще более разносился. Вместо того, чтобы правильно сгруппироваться и встретить землю, как полагается, лицом, я все высматривал, куда валенок упал, думал только о том, как бы его быстренько отыскать в снегу и шмякнулся — прямо об ледяную плиту — на задницу; спину прострелила боль.

Конечно, с оперированным позвоночником я не прошел бы ни одной медкомиссии и не смог бы стать бравым кавказским поручиком. Но мне тогда было двадцать лет, никакие операции и в голову мне прийти не могли, я даже не обратился к врачу. Боль прострелила и прошла, все вылезло по-настоящему только годам к сорока.



## 4.

О самой воинской службе вспоминать мне не хочется. Право слово, не стоит того. Нет, не стоит. И, при всем кажущемся обилии событий, не происходит ничего на этой самой службе такого, что заслуживает упоминания. Нет, не происходит. Не говоря уж о том, что об армии уже до меня написаны тома.

Я только потом понял, с какой степенью над решительно всеми людьми в армии давит несвобода, как императивный вектор ежеминутного бытия. Кто-то, разумеется, может находить именно в этом удовлетворение, потому что чувство стаи — одно из самых сильных человеческих чувств, живущее в каждом. Что же до крылатого васильевского «Есть такая профессия — Родину свою защищать», то тут необходим, если разобраться, некий внутренний ду-

ализм — прежде всего, надо испытывать если не чувство стаи, то, во всяком случае, ощущение общности оборонных амбиций, сознание, что тебя понимают и поддерживают такие же, как ты, профессионалы. Второе — наоборот, осознание собственной избранности, понимание, что если я не наведу сейчас порядок в роте (в батальоне, полку, бригаде, далее везде), порядок, от которого непосредственно зависит благополучие Отчизны, так никто меня не сможет заменить. Такие романтики — опора армии, они, как правило, заслуженно делают быструю карьеру, но — иногда и не делают. Потому что надо, чтобы их начальники оказались бы точно такими же романтиками и смогли бы по достоинству оценить подчиненных. А в Советской Армии, как и везде, но здесь особенно, процветала показуха.

Ежедневная армейская текучка может заинтересовать только по первости, как новые, еще не испытанные впечатления, а потом приедается, как и любая текучка. «Воспитание» солдат мне лично надоело мгновенно — как выяснилось еще раньше, педагогическими способностями я вовсе не обладаю и даже не пытался именно *воспитывать*, а просто ломал. Непреложное, вызванное жизненной необходимостью, императивное и ежеминутное — иначе нельзя! — принуждение разношерстной солдатской массы к повиновению утомляет. Потому что если ты не службист и не карьерист (добавлю — и не садист, видел и таких), никакой перспективы

нет — ну, будешь ломать не в масштабе роты, а в масштабе батальона, дальше что? Я это однажды — некоторое время не понимал — понял, но этого не понимает множество людей.

В желдорбатах — тогда, во всяком случае, — служили в основном уроженцы Среднеазиатских республик, кавказцы, литовцы и «западэнники». Очень часто, к моему изумлению, имеющие и 7, и 6, и даже 4 класса образования — тогда, в начале 70-х годов. Бывало, ребятки не желали слушаться, мотивируя непослушание тем, что не понимают по-русски. Я, когда очень недолго занимал командирскую должность, никогда не марался увещеваниями и сразу сажал непонимающего в батальонную «холодную». И все это очень быстро осознали.

Встречались и бывшие уголовники. Наш батальон был особый, как бы даже и элитный, но общая кадровая тенденция все равно сохранялась. Неудивительно, что рутина заедала, «боев и походов» было не так много, и носили они игрушечный, как правило, характер. Немного было и страшных врагов. Хотя в меня за два года трижды стреляли — задолго до всех горячих точек, об этом после — и однажды резали, но все эти замечательные покушения на жизнь советского офицера носили, если так можно сказать, военно-бытовой характер. Я же стрелял в человека только однажды, и то — не в какого-нибудь подрывника-террориста, закладывающего под рельсы фугас, а в солдата, вернее — в сержанта, еще



вернее — в старшего сержанта, доведшего меня до белого каления.

Я тогда временно принял роту, потому что мой незабвенный учитель командирского мастерства капитан Павел Иванович Шевченко, в одночасье упал — упал в буквальном смысле этого слова, на моих глазах. Хуже, что на очень многих глазах, в том числе и на глазах прятавшегося, как скоро выяснилось, за углом парторга.

Капитан мой вышел из казармы к построившемуся на плацу подразделению. Я — уже два дня как заместитель командира — за ним. Командир первого взвода доложил:

— Товарищ капитан, рота по вашему приказанию построена!

Как положено, он с рукою у козырька сделал шаг в сторону, повернулся лицом к строю, Павел Иванович, тоже с рукой у козырька, громогласно поздоровался:

— Здравствуйте, товарищи!

Моросил мелкий дождик, делавший происходящее похожим на парад 7 Ноября на Красной Площади. Но все пошло не по сценарию. Конечно, раздалось ответное «Здра-а-ла-та-тан!» и — вдруг непонятная повисла пауза. «Вольно!» и вообще каких бы то ни было команд не следовало. Шевченко застыл на несколько мгновений и — не отрывая руки от козырька — пряменько, я чуть не написал «как солдатик», ничком упал вперед, прямо в лужу. Пьян

он был и на краткий миг потерял ориентировку в пространстве. Если б мы служили в авиации, Павел Иванович не вышел бы в тот миг из пике или из штопора там, не знаю, воткнув самолет свой в землю, а тут все бы обошлось, шинельку бы почистили, а авторитет свой в роте командир очень быстро бы восстановил, потому что рука у него была очень тяжелая. Но парторг тут же стукнул, и Павла Ивановича от нас забрали. Я еще получил тычков, что сам не стукнул раньше парторга.

Я ни одного солдата ни разу не ударил, никогда. Хотя в иных ситуациях, наверное, следовало бы, потому что солдата в какое место ни целуй — везде жопа (одна из максим Павла Ивановича). Никакой сознательной дисциплины — открою тайну — не существует, солдатом — по определению — движет страх и принуждение. Но мордобой с позиции сильного я ненавижу, как одно из самых мерзких проявлений человеческой подлости, и Павла Ивановича я горячо не одобрял, бесполезно пытался протестовать, вызывая саркастическую улыбку капитана.

Понадеявшись на слабинку юнца-двухгодичника — потом я получил благодарность в приказе комбрига за подготовку роты к бригадным учениям, — ребятки было попробовали дать себе отдых. Надежды их оказались тщетны. А в первый же день моего замечательного командования замкомвзвода-1, то есть, первого взвода, и неформальный лидер роты старший сержант Струков по прозвищу (это была

настоящая кликуха) Струк начал со мною борьбу за власть.

Он год отсидел до призыва, не помню, за что — за мелочь какую-то, за драку, и его все-таки призывали. Был он не очень большого росточку, но жилистый, сухой нервной, истерической сухостью, с клочущей ненавистью внутри — к себе, ко всему и ко всем — и быстро выдвинулся в младшие командиры, и быстро начал править в часы, когда казарма оставалась без офицеров.

Открою еще одну тайну — офицеры, как правило, на самом деле контролируют ночную жизнь казармы, дедовщина им зачастую на руку, упрощает командование и структурирует личный состав. Достаточно невидимо вертеть неформальным «бугром» и тогда легко не входить в мелочи. Это, конечно, можно сказать о командирах слабых или равнодушных. У меня в роте этого не было. Ну, или почти не было. А обычно командиры подразделений негласно поддерживают и в случае чего покрывают «дедов». А генералы тоже в том самом «случае чего» поддерживают и покрывают поддерживающих «дедов» офицеров. Так Струк стал старшим сержантом.

Струк, как потом выяснилось, командовал ночью и «тропой Хо Ши Мина<sup>5</sup>» — так у нас называлась единственная тропка от задворков части сквозь ка-

---

<sup>5</sup> Если кто не помнит — тогдашний лидер «демократического» Вьетнама



мышы и разлитую по солончакам нефть, настоящая «дорога жизни», потому что в самоход — если, конечно, не перелезть через двухметровый забор — можно было свалить только там.

На первом же построении в отсутствие Павла Ивановича мне демонстративно было показано, кто здесь главный. Рота построилась, я важно, как командарм, вышел из канцелярии и спустился с крылечка, надевая на ходу перчатки, принял рапорт и собрался было что-то вещать личному составу, когда из казармы вслед за мною появился Струк в сопровождении двух-трех приближенных шестерок и вразвалку встал в строй. Рота напряглась.

Для тех, кто не служил — мне было нанесено страшное оскорбление. Главный является перед строем, как Иисус Христос пред народом, только когда *решительно все* находятся в строю. Тот, кто явился последним, тот и царь. Это одно из полукриминальных, первобытных верований казармы, чрезвычайно, как все первобытное, сильное. Помимо негласных правил, существуют и вполне гласные, уставные — опоздавший по уважительным причинам на построение может встать в строй лишь по особому разрешению командира, ходить перед выстроившимся подразделением нельзя и проч. Так что Струк себя сознательно позиционировал, и если я тогда сделал бы вид, что ничего не произошло, с этой минуты и впредь любые мои команды просто перестали бы исполняться.

Признаться, я не нашел ничего лучшего, как дать команду «Разойдись!», вернулся в канцелярию, сел там за стол и вызвал к себе дежурного. Вошел улыбающийся сержантик. Я приказал вновь строить роту и вновь важно вышел к ней, точно так же, словно во втором дубле, надевая перчатки. Тут же повторить свой фокус Струк не решился.

Мы куда-то ехали тогда, помню, что стояли возле казармы три ГАЗ-66, и рота должна была сейчас садиться в них. Я подошел к первой машине и оттуда крикнул:

— Старший сержант Струков! Ко мне!

Вся рота смотрела, как Струк вынужден был подойти ко мне и персонально отдать честь. На этих дураков картина произвела большое впечатление.

Я оглянулся — шофер уже сидел в кабине, остальные все находились метрах в 10-15, можно было идти ва-банк. В роте все мгновенно узнают, что я сказал, но непосредственные свидетели отсутствуют.

— Еще один выебон, дружок, и я тебя грохну, — произнес я ему прямо в глаза и с удовлетворением увидел, что на мгновение в них метнулось смещение, он поверил, — на первом же дежурстве, как получу оружие. И учти — я не китаец, поэтому второго предупреждения не будет.

Но он уже справился с собой, хотя наверняка не понял про китайца, справился и улыбнулся, и я вдруг почувствовал, что завожусь от его улыбки. А он еще тихонько сказал, провоцируя:

— Да ладно тебе, лейтенант.

И вот тут мне захотелось его ударить. Но это нельзя было сделать при всех, и он это отлично знал.

— Пшел!

Вечером на собрании сержантов я его, разумеется, снял с замкомвзводов и надавал официальных тычков, но это уже ничего не меняло. Теперь уж точно было — кто кого.

Не помню, сколько дней прошло с этого случая — дня три. Надо сказать, что за эти три дня ничего существенного не случилось, урка вел себя внешне пристойно, я же скрутил роту так, что ни единый человек не мог отлучиться куда-либо, кроме сортира, и то по разрешению отделенного. Стонали все, даже командиры взводов — один старик-прапорщик и два таких же, как я, лейтенанта после института (в Железнодорожных войсках не хватало офицерских кадров, именно поэтому нас, «пиджаков», и призывали в массовом порядке). Разумеется, в частных, частных беседах мне не раз предлагали не выебываться, а служить, как все. Сам я проводил в казарме подавляющую часть суток — подъем у нас был в пять, я, как правило, не приходил к подъему — во всяком случае, каждый день, иногда же приходил и к подъему, а уходил всегда полночь-за полночь, потому что надо было каждый вечер давать накачку взводным и сержантам, сержантов я собирал каждый вечер перед отбоем. Все ждали, на сколько меня хватит. А я когти рвал — в то время, как мне казалось — окон-



чательно, решив стать офицером и действительно возмнивши, что от моего усердия зависит обороноспособность Страны Советов.

Попытка офицерского бунта была только одна — командир первого взвода Воробьев, которого Струк, разумеется, давно совершенно подмял, возроптал, что я его задерживаю на службе на большее время, чем это определено КЗОТом<sup>6</sup>. А? Каково? Услышав про КЗОТ, я испытал чувство, похожее на сострадание. Он и внешне вызывал сострадание — маленький, действительно похожий на воробья, с пегорусыми прядочками, с угреватым личиком. И еще у него была ужасно кривоногая жена, он привез жену. То есть, такая кривоногая, что я более никогда в жизни ничего подобного не видел. Вот, буквально, ну, буквально ноги колесом. И прекрасно помню, что звали ее Лилией — татарки любят такие имена: Лилия, Венера...

Воробьев потом — впрочем, сразу было это ясно — оказался говном, писал на меня доносы, мне передавали, но я, разумеется, не испытывая никакой симпатии к нему, к полученной информации отнесся спокойно. В Советской Армии многие писали друг на друга доносы.

Да-с, прошло, значится, дня три, подошла моя очередь дежурить по части. Началось все рутинно — я принял парад заступающего наряда, клю-

---

<sup>6</sup> КЗОТ — кодекс законов о труде, нормативный документ в СССР

чи и прочее, расписался в книжице, доложил командирю вместе со сдающим дежурство офицером. Далее до отбоя — после проверки кухни перед ужином — можно было отдыхать где-нибудь в закутке, потому что до отбоя в ротах и в парке, как правило, находились свои командиры, нечего туда было соваться. Проверять несение службы надо было ночью.

В обязанности дежурного, помимо прочего, входил и пересчет — по головам — спящих в казармах воинов на предмет поимки самоходчиков. Ну, солдат обычно всегда мог обмануть офицера — при большом желании и элементарной смелости. Так что до пересчета голов (кроме своей роты) или, что некоторые делали, до сидения в засаде у тропы Хо Ши Мина я никогда не унижался, я просто вдруг оказался там, возле тропы, потому что добросовестному дежурному надо было обойти часть по периметру несколько раз за ночь. Кроме того, туда, к углу нашего забранного спиралевидной колючкой забора местные жители повадились выбрасывать несчастных женщин, схваченных на улице — почему-то именно туда, к части, их отвозили поутру, хотя могли бы просто живьем в землю зарыть, а уж выбросить — куда угодно. Но нет, вот привозили именно сюда. Необъяснимый гуманизм местного населения: подонки понимали, что единственное место, где — теоретически хотя бы — могут оказать помощь, это воинская ачасть.

Мне не раз рассказывали, я не верил, пока не увидел сам, как девчонок хватают на улице. С визгом затормозила машина, выскочили двое, схватили девушку и бросили на заднее сиденье. Прямо в центре города, возле вокзала. Девушка, конечно, кричала, но никто из находящихся рядом даже и не посмотрел в ее сторону — могли подстрелить. Я подбежал — рефлекторно стартанул, но машина уже отъехала, все произошло за секунды. Номер был предусмотрительно заляпан грязью. Тут же я поскакал на вокзал искать милицию — совершенно напрасно, менты меня выслушали абсолютно равнодушно, никакие щенячьи мои угрозы не возымели действия. По словам азербайджанских охранителей, это наверняка была «проста щютка».

Тут в тексте кстати оказалась бы инвектива и к тамошней милиции, и вообще к азербайджанцам. Но я ее опускаю, потому что, будучи, как я уже упоминал, человеком совершенно не толерантным, могу наговорить слишком много.

Да, так выброшенная девица, если сразу не накладывала на себя руки, нуждалась и в медицинской, и в психологической помощи. Никаких иллюзий не питая насчет находящихся в карауле солдат — они могли еще и добавить, когда та полагала, что теперь — все, отмучилась, — я обычно два-три раза за ночь, особенно под утро, туда заходил, к углу. А тропа Хо Ши Мина начиналась недалеко от угла, сразу за зданием гидропоники, где у нас выращива-



лись собственные помидоры к столу — там, у гидропоники, почему-то не было забора. Сейчас там мелькнула тень, я насторожился. Это был идущий в самоход солдат — его спина на мгновение появилась в свете луны и тут же исчезла, чтобы тут же появиться на железнодорожной насыпи, уже совершенно ясная. И тут я узнал его.

Я чисто рефлекторно заорал «Стой!». Признаться, пистолет я начал доставать еще на бегу — отлично это помню. Он с верхотуры насыпи сделал международный жест, показав мне локоток. За несколько мгновений я с невообразимым шумом протопал по камышам — такой треск, наверное, издавал только Тартарен из Тараскона, пробиваясь в плавнях за подстреленной уткой. И тут же меня вынесло на насыпь.

Струк совершил тактическую ошибку. Дело в том, что с насыпи ему решительно некуда было свернуть. Тропа с другой стороны продолжалась не зеркально точно, а метров через сто пятьдесят. Справа тут началась вновь двухметровая ограда части с колючкой, а слева везде, куда хватал глаз, расстиралось огромное нефтяное болото, в котором не только намертво застрять, но и просто утонуть было немудрено.

Еще помню четкую мысль: первый выстрел — в воздух. Это я ясно помнил, хотя находился в те минуты, разумеется, не в себе.

У нас в бригаде караульный застрелил какого-то козла, так ему, караульному, дали два года дисбата

только потому, что экспертиза, вишь ты, доказала, что убит нарушитель был именно первым выстрелом, хотя по Уставу после «Стой! Кто идет?» и «Стой! Стрелять буду!» следовало дать предупредительный выстрел в воздух, а только потом стрелять на поражение (нет никаких сомнений, что, попади я в Струка даже вторым или хоть двадцать вторым выстрелом, я бы сейчас не писал эти строки — сержант всего-навсего шел в самоход, а не угрожал непосредственно обороноспособности части).

Я на бегу выстрелил в темное небо, а дальше началось чистое кино.

Полоса ярчайшего света заполоскалась у меня под ногами, сзади раздались тяжелые носовые гудки — «Амम्मмммм! Амम्मмммм! Ам! Ам! Ам!» — нас догонял тепловоз. Это, повторяю, был чистый Голливуд — темнота, яркий свет прожектора на насыпи и двое бегущих в луче. Я собираюсь использовать эту свеженькую (ставилось что-то такое тысячу раз) картинку в каком-нибудь своем будущем сценарии, чур, моё.

Я на бегу выстрелил — мимо. Тепловоз догонял, нисколько не тормозя — машинист полагал, что я просто свалюсь в болото, уступая ему дорогу. Я остановился, выдохнул, как выдыхает биатлонист перед стрельбой после спуртового куска дистанции, положил «макарова» на согнутую левую руку и выстрелил в третий раз. Мимо! К счастью, я не попал и в третий раз, хотя из пистолета я стрелял очень

неплохо — на «отлично», это 28 очков из 30, редко отстреливался, но 26-27 я выбивал всегда, причем «десятка» — центр очень небольшой круглой мишени, а при стрельбе по человеку 26-27 очков более чем достаточно.

Струк юркнул в камыш на левой стороне насыпи, как мышь в нору, я тут же свалился вправо, в заросли чапыжника под стеной, и тут же тепловоз, пахнув запахом горячего масла, тяжело прошел мимо. Я лежал во тьме, переводя дух, пока пустые бочки из-под мазута грохотали надо мною.

Ну-с, патроны-то тогда были все считанные, не сказать, что скрупулезно их считали, но — считали, всё, в том числе стрельбы и прочее прилежно оприходовалось. Так что утром я сварганил рапорт, дескать, потратил три патрона, поскольку наблюдал попытку неизвестного нарушителя проникнуть на территорию части. Командир, принимая бумагу из моих рук, с усмешкой посмотрел мне в глаза.

— Ох, Игорь Палыч, Игорь Палыч...

У командира были свои стукачи, иначе он был бы плохим командиром, а он был командиром очень хорошим, лучшим в бригаде — не потому, разумеется, что обзавелся стукачами. Командир части у нас был именно из тех искренних романтиков и фанатов армии, без которых армия существовать не может. Ему уже все доложили, я даже знал — кто в роте доложил. Командиру приключения совершенно, разумеется, были не нужны. Если бы лейтенант заст-



релил сержанта у него в части, его дальнейшая карьера перестала бы существовать. Поэтому в то же утро, пока я отсыпался после дежурства, Стука перевели в другой батальон. Более того. Когда я потом со злобным упорством попытался узнать — в какой, выяснилось, что перевели его вообще прочь из бригады, словно бы офицера на повышение. Так что командир куда лучше просек меру моей глупости, чем я сам тогда.

Самое поразительное, что со Струком я лет через двенадцать буквально столкнулся в Москве буквально же нос к носу — на Пушкинской площади. У меня давно уже появилась борода, в бороде к тому времени — полосы ранней седины, как изморозь на ботве, на голове же уже прочно обосновалась лысина. Струк, с которым мы столкнулись на том месте, где сейчас довольно-таки дорогое кафе, только что вышел из метро и обзревал площадь — ясно было видно, что в Москве он первый раз. Он, разумеется, не узнал в седоватом бородатом лысачке выпендристого лейтенанта, да он просто и не посмотрел на меня. Мы ударились плечами, я мгновенно узнал его. Никто из нас не извинился, никто не сказал ни слова. Мы разошлись.

## 5.

Чем я только не занимался за два года, служил и в Азербайджане, и в Армении, и на Украине. Такая была интересная часть. Но гораздо резче, чем события самой службы, вспоминается, например, то, как я зимней ночью гулял в Чернигове с молоденькой буфетчицей — Бог ты мой, сейчас я вспомнил даже ее имя — Саша! — вдоль бывшего крепостного вала. Помню черные ветки в снегу, черные, припорошенные снегом, силуэты старинных чугунных мортир, белые, сквозь черно-белые деревья, церкви на заднем плане. Чудесная, мягкая стояла зима. Ни одного человека, кроме нас, на валу не было тогда. А с Сашею у нас все произошло в игрушечном фанерном домике на детской площадке. Там пахло снегом и мочой и тут же — от стоявшей крюком Саши — запахло кровью, да и я сам, чтобы не стукаться головой, должен был двигаться в позе прыг-

нувшего на сучку кобелька, но все равно стукался и фуражка у меня немедленно слетела прямо в подмерзшую было, но растаявшую мочу, так что произошедшее мне как-то не очень понравилось, но запомнилось.

Я мог бы описать сходные впечатления от, например, Киева — тоже очень хорошо помню, как в зимней же и тоже ночной Дарнице ко мне подошел пьяный капитан-летчик и спросил, работает ли у меня машинка. Я сразу и не понял, о чем он, пока он не признался, что лично у него машинка больше не работает, а «народ собрался и требует». После той ночи я пару суток буквально засыпал на ходу. И еще были разные сходные приключения. Так что можно смело заключить, что, в общем и целом, моя армейская служба удалась.

А тогда, наутро после дарницкого мероприятия, я заснул на лекции начальника Политотдела корпуса.

В Киеве у нас проходили учебные сборы, нечто вроде курсов повышения квалификации. Несколько дней мы сидели и выслушивали лекции.

У меня рефлекс — на любой лекции, даже самой интересной, меня параноидально клонит в сон. А тут внедрялось нам нечто о политвоспитании личного состава — не сказать, что так-то уж увлекательна была тема. Главное же, после чудовищной ночной групповухи и после не столько количества оттраханного материала, сколько после количества



материала выпитого я просто лыка не вязал — пьян уже не был, алкоголь, полагаю, вышел вместе с честным рабочим потом, но я находился в явной прострации и двигался исключительно на автопилоте. К восьми утра я, ни секунды ночью не проспав, явился на негнущихся ногах в Дарницу, вместе со всеми зашел в аудиторию и сел за стол. Важно вплыл генерал, взобрался на кафедру и начал вещать. Помню, указка зачем-то оказалась у него в руках.

Он интересный был мужик, этот генерал. Небольшого росточку, круглый, с огромной лысой головой, с рыжими волосиками над ушами, с хитроватым крестьянским прищуром. Еще бы бородку ему и сбавить жирок — вылитый бы оказался Владимир Ильич. Судя по орденским планкам, у генерала были ордена Славы и несколько медалей «За отвагу» — самые честные, солдатские награды войны. Потом я узнал, что генерал всю войну прошел старшиной роты. Нисколько не сомневаюсь, что он оказался отважным человеком и старшиной замечательным, в старшинах ему и было самое место. Но после войны этого человека начали двигать по политической линии и додвинули до генерала. А тут он, видимо, чувствовал себя не очень уверенно и искупал комплексы ужасной бурбонщиной. Боялись его, как огня.

Помню, потом уже, когда он приезжал что-то внедрять нам в Баку, в зале один из старших офицеров позволил себе, что-то шепча, на секунду накло-

ниться к соседу, и тот немедленно — при нас, лейтенантах! — офицера поднял.

— Товарищ подполковник! Десять суток ареста за разговоры!

— Есть! Разрешите выполнять?

Подполковник, не будь дурак, тут же щелкнул каблуками и вышел вон, словно бы действительно отправляясь под арест. Это был главный инженер бригады, ему некогда было заниматься политхерней. Разумеется, никто у нас не собирался сажать инженера — Железнодорожные части, если кто не знает, в советское время занимались, как Минтрансстрой, обыкновенной прокладкой пути, получали, как подразделения Минтрансстроя, годовые и квартальные планы, и десятидневное отсутствие основного действующего лица бригады, главного работника, на котором все держалось, в расчеты комбрига никак не входило. За невнимание подчиненного на политзанятиях с него бы серьезно не спросили, а за срыв плана — спросили бы, да еще как. Так что подполковник элементарно прятался, пока суровенький отец-воспитатель пребывал в штабе, а потом спокойно пошел в свой кабинет.

Так в Советской Армии все и делалось. И думаю, кстати сказать, что — в любой армии мира. Я не испытываю никаких иллюзий по поводу армейской жизни вообще, в любой части суши, в любой стране. Какие-нибудь американцы, например, получают не такое позорное содержание, как наши теперешние

офицеры, куда лучше, вероятно, экипированы, а суть службы — особенно для призывника в мирное время — одна. И всему этому глобальному армейскому пофигизму противостоит кучка офицеров, настоящих офицеров, на которых, как та самая черепаха на трех слонах, стоит любая армия. В России, я полагаю, эта кучка поистине могучая, иначе сейчас наша армия просто перестала бы существовать. Таким, я уже писал, был наш командир батальона, таким был комбриг. Тут — еще и еще раз — надо быть особым человеком, количество таких вовсе не равно количеству выпускников военных училищ.

Кстати тут сказать: в советское время офицеры себя изгоями, как правило, не ощущали. Лейтенант в 1974 году получал 220 рублей в месяц. Это были достаточно серьезные деньги. Плюс бесплатная одежда и ежемесячный продовольственный паек, который при желании можно было действительно растянуть почти на месяц. У меня была собственная — впервые в жизни, как у Остапа Бендера на пароходе «Скрябин», — отдельная комната в общежитии, которую я с удовольствием украшал и обустраивал. Неудивительно, что после нищей юности я почувствовал себя просто королем. Мне решительно некуда было девать деньги. Я купил себе первый в жизни костюм. Я водил девок в рестораны. Я даже сберкнижку первый раз в жизни завел.

Конечно, — возвращаясь к строительству дорог, — в Железнодорожных войсках не работяги, а



солдаты, которые приняли присягу, занимались и боевой учебой — например, раз в месяц выезжали на стрельбы в заросшие камышами каспийские плавни, где целый день бессмысленно пуляли по-верх мишеней в сторону моря, — и шагистикой занимались, и чисткой оружия, и обучались борьбе с подрывниками противника, чтобы в случае, не дай Бог чего, оказать вооруженный отпор или продолжать свое дело в антирадиационных костюмах (которые все у нас были с огромными дырами, а шлемы без опускающегося прозрачного забрала — «герметки»; как-то раз пришлось в таком костюме бежать кросс, без внутренней вентиляции у каждого, думаю, в нем просто бы остановилось сердце). И, разумеется, у нас в батальоне (мы не строили, у нас была авторота, рота технического обеспечения, то есть, по сути — ремонта, и рота охраны, как раз которой я и непродолжительное время героически командовал) проводились антиподрывные и анти-террористические занятия — тогда с исламистами не воевали, а предполагалось, что мы будем бороться с выброшенными НАТОвскими парашютистами. В общем, это была самая настоящая армия, только бойцы вместо уборки картофеля строили железные дороги и обеспечивали их строительство. А если война, то Господь поможет.

Да-с, а тогда в Киеве я попервоначально делал вид, что конспектирую — подпер лоб ладонью и ткнул ручкой в блокнот; и остальные все сидели в таких

же позах. Но потом, видимо, я совершенно отключился, развалился на стуле и запрокинул голову с открытым ртом. Сверху, с кафедры, на фоне единообразно склоненных лейтенантских затылков это, по всей вероятности, выглядело потрясающе!

Я очнулся, потому что меня с двух сторон толкали локтями.

— Туварыщц лэйтынант! — генерал просто рычал, бедный.

Я вскочил.

— Вы спытэ!!! — это он произнес со сжатыми кулаками. — У вас гылыва-а отки-инулась!

Своим ответом я горжусь до сих пор. Это был единственно правильный ответ. Признаться, родился он не в результате хитроумных размышлений, на которые я тогда совершенно был неспособен, а чисто интуитивно. Мой эгрегор<sup>7</sup> всегда был чрезвычайно надежным малым, и всегда, когда я его безоглядно слушаюсь, бывает мне благо.

— Никак нет, не спал, товарищ генерал!

Кровь еще больше бросилась несчастному в лицо, теперь он стал уже не помидоровым, а просто вишневым. Не сомневаюсь, что его мог хватить кондратий, и на моей совести был бы заслуженный покойник. Но он справился с собой — военная закалка дала себя знать. Генерал шваркнул указкой о кафедру и вышел. Указка с грохотом покатилась в

---

<sup>7</sup> Согласно некоторым психологическим теориям — мистический внутренний голос

совершенной тишине. Влетел аккуратный капитанчик:

— Встать! Перерыв!

Я вместе со всеми вышел в коридор и тут заметил, что вокруг меня образовалось метра на четыре пустое пространство. Даже те, кому надо было пройти мимо, машинально прижимались к стене, чтобы протиснуться на возможно более дальнем расстоянии от меня, словно я был зачумленным. Я курил в полном одиночестве — все боевые друзья и соратники боялись даже подойти, чтобы, не дай Бог, не замараться об — в этом у них сомнений не было — отверженного. Вот цена армейского братства. В магический круг вошел лишь этот политический киевский капитанчик и начал делать мне внушение. Мне, понятно, приходилось теперь только идиотически стоять на своем: не спал я, и все тут! Капитан только развел руками и пошел от меня прочь.

Такой наглости тут еще не видали. Она меня и спасла. Я думал уже только о том, дадут ли мне сейчас на «губе» возможность поспать или же не дадут. Об офицерской «губе» я имел представление и поэтому рассчитывал, что мне оставят хотя бы шинель, в которую я бы завернулся и — спать, спать, спать... Я уж воображал, что сей минут с меня, как с арестанта, снимут ремень, поскольку разоружить меня не было возможности — оружия, конечно, никакого на нас не было, оружие выдавалось только на дежурство, — но и ремня никакого тогда не было,



только китель и брюки навывпуск. Однако же перерыв кончился, мы отправились вновь в аудиторию, а никакого конвоя или чего-нибудь в этом роде по мою душу не наблюдалось.

Я, не помню уж, как, промучился до конца дня, было хуже, чем на «губе», поспать днем, во всяком случае, не удалось. И никакого наказания не последовало. Потом выяснилось, что генерал настолько был взбешен, что просто *забыл* меня арестовать! Но фамилию мою отлично запомнил. И несколько раз заворачивал мои награждения какими-то почетными досками и грамотами — это находилось в его полной власти, — и, главное, пытался помешать моей учебе в Литературном институте. А вот тут у него ничего не вышло, но об этом речь впереди.

Так что и теперь я полагаю, как полагал и раньше, что простительно, когда молодой человек ради барышень забывает обо всем на свете, в том числе и о воинской службе.

У меня был замечательный случай в Баку, когда на вечер, в который я должен был сдавать дежурство по части, я договорился с местной русской барышней (об уходе за азербайджанками, понятно, и речи не шло, это вам не киевлянки — самые, надо засвидетельствовать, лучшие девушки в СССР) отправиться в театр. Барышни, не буду врать сейчас, почему-то совершенно не помню — что за барышня, откуда? Но отлично помню, что я

так бил копытами, предвкушая не столько предстоящее культурное мероприятие, сколько долженствующее последовать за ним сексуальное, что, едва окончилось так называемое «построение» — инструктаж нового, заступающего наряда, выскочил, как был, в сапогах и португее, в повседневной шинели, за ворота части, буквально обо всем на свете и позабыв. Кроме ее попки, ни о чем другом думать не мог. И к тому же я опаздывал, а опоздания я ненавижу и сам ни разу в жизни никуда не опоздал.

Прекрасно помню, что барышня моя вообще не явилась, и я, матеря ее, себя и Бакинский театр русской драмы, одиноко уселся в кресло в партере. И только тут с ужасом обнаружил у себя на брюхе кобуру с несданным после дежурства «макаровым», а в кармане — добрый кулан ключей от сейфа и оружейных ящичков с болтающейся на нем, словно брелок, медной печаткою с номером части, которой, печаткой, при каждой смене дежурств запечатывали пластилин на бирке каждого из замков. Надо было ощущать чрезвычайно сильное давление спермы на затылок, чтобы до поры не почувствовать тяжести пистолета на ремне и сходной же тяжести связки ключей в кармане.

По ногам я выскочил из театра, напрасно потратил уйму времени на ловлю такси — в тогдашнем Баку советскому офицеру непросто было поймать машину и договориться с шофером — и, вдруг успокоившись, не торопясь, направился к автобусу.

Часть наша помещалась на так называемом Нейтчиляре — на далекой окраине. Когда я чуть не с сигареткой в зубах уже в темноте вошел в штаб, представилась мне следующая картина: молча стояли возле знамени и сейфа: старый наряд с несданным оружием и патронами к нему, новый наряд, не получивший оружия, старый помощник дежурного — мой помощник! — с несданным пистолетом, новые дежурный и помощник — без оружия. И так называемый «ответственный», майор, — назначаемый на выходные дни, а была суббота, один из заместителей командира или начальников служб части. Всего топталось на месте человек сорок. Все они ко времени моего появления уже устали перемывать мне кости, куда-либо звонить и жаловаться и потому тупо молчали, не зная, что делать. Они настолько обрадовались снисходительному, как в очередной театральной картине, явлению лейтенанта Тарасевича, что не высказали мне, ей же Богу, ни одного слова упрека. Тут зазвонил телефон, это был встревоженный командир, которому я спокойно и доложил:

— Лейтенант Тарасевич дежурство сдал.

Мой преемник доложил о принятии дежурства.

— Добро, — сказал командир, не вникая, и отключился.

Так все и закончилось. Никакого взыскания я не получил, хотя преступно уронил на несколько часов боеспособность Родины, начисто лишив целую воинскую часть караула и оружия. Ну, напади тогда



на нас НАТО, мы б оказались с голыми руками суп-  
против врага!

Самое интересное, что ко времени окончания МИИТа я уже совершенно сознательно желал стать офицером, вернее — военным журналистом. Мне это вдруг понравилось. Кроме того, никакой другой альтернативы, кроме службы «двухгодушником», для меня просто не существовало. Выпускники нашего факультета распределялись или прорабами на стройку, да еще, как правило, провинциальную — чего мне решительно не хотелось, или инженерами во многочисленные тогда московские проектные НИИ — там пришлось бы «от и до» стоять у кульмана возле дурацких чертежей, опостылевших мне еще в МИИТе, причем за совершенно нищенскую — и тогда уже — зарплату без каких бы то ни было перспектив. Кроме того, тогда выпускников с моей военной специальностью все равно призывали на два офицерских года после трехлетней отработки распределения, так что лучше было сразу отслужить, отработав тем самым и распределение, и выйти на свободу с чистой совестью.

Разумеется, не я один такой оказался умный — в армию на пятом курсе был среди ребят конкурс два человека на место! Я его благополучно прошел и тут-то и начал замечательное свое наступление на форпосты профессионального сочинительства.

Я уже писал стихи, и у меня появилась первая публикация — косноязычная заметка в газете «Гу-

док» об отправке студентов МИИТа в стройотряд. В «Гудке» я потом, после армии, несколько месяцев проработал корреспондентом — об этом как-нибудь в другой раз, ужасно смешная газета, а тогда я вызвонил редактора, готовившего заметку к публикации и, кротко спросивши, не надо ли написать еще чего, услышал в ответ, что ему некогда возиться с графоманами. Уже через два года, работая в армейской многотиражке и публикуясь в окружной газете, я — никто и никогда ничему меня не учил — сам насобачился печь такие заметки, как пирожки, а тогда высказывание этого сантиметра пера сильно меня озадачило. Ясное дело, я вовсе не собирался сдаваться.

Ниже благосклонному читателю будет предложен уникальный авторский рецепт создания как подобных журналистских материалов, так и, главное, рассказов (для романов подходит с оговорками — об этом позже). Рецепт мне не от бабушки достался — это плод моих собственных многолетних упражнений на литературной ниве. Так что, мои молодые друзья и подруги, внимайте, а в Литературный институт можете более не поступать.

Тогда же, подумавши на досуге и изучив существующий рынок армейской печати, я решил, что мне надо идти за советом в журнал «Советский воин». Этот журнал тогда был чем-то вроде армейского «Огонька» — без всякой, конечно, фронды, а просто наиболее, насколько это было возможным в

те года, синтетическим изданием — с кондовыми передовицами и материалами о счастливой боевой учебе, но и с — не менее кондовыми — рассказами и стихами.

Я собрал несколько стихотворений, наиболее, на мой взгляд, отвечающих патриотической политике издания (разумеется, их не напечатали, я напечатался в «Советском войне» через несколько лет, когда и редакция стала несколько другой, и стихи мои стали несколько другими) и явился.

Принял меня завлит журнала по фамилии Коваль-Волков. Был такой поэт, была такая вот дворянско-пролетарская контаминация. Он носил погоны полковника авиации и на кителе — странный латунный значок из двух крылышек и стилизованной бомбочки между ними, долженствующей, по всей видимости, намекать на знакомство носителя значка с бомбардировочной авиацией. Если я не ошибаюсь, никаких такого рода значков официально в ВВС не вводилось, были только — похожие — значки «классной» летной классификации. Это мне напоминает нескольких теперешних генералов и адмиралов, получивших — уже в наши дни! — звезду Героя Советского Союза из рук Сажи Умалатовой, Председателя Верховного Совета уже не существующей, к сожалению, державы. Генералы по себестоимости заплатили за изготовление «золотой» звездочки и бессовестно стали героями. Это тебе не значок с бомбочкой, тут поболе будет. Впрочем, я



могу и ошибаться — может быть, значок официально существовал.

Да-с, а Ковалю я без обиняков и заявил, что именно его карьера меня прельщает, что я желаю стать именно таким, как он, полковником от поэзии. Именно таким. Или поэтом от полковников, все равно. Боже мой, каким стихийным конформистом, а проще говоря — каким идиотом я был! Конформизм и глупость вовсе не мешали, однако, сознательному моему и безоглядному выстраиванию собственной жизни. Потому что когда несколько оторопевший от моих откровений Коваль-Волков спросил, кто же я такой и какие имею права на столь счастливую, как у него, судьбу и поняв, что, собственно говоря, — никаких, и, приосанившись и надувшись, порекомендовал мне прежде всего послужить в войсках и набраться жизненного опыта, — я ответил полным восторгом.

Тут надо оговориться — восторг мой был совершенно искренним. Я действительно желал в войска, причем на совершенно определенную должность в войсках — должность корреспондента дивизионной газеты в Железнодорожных войсках на БАМе, что позволило бы мне набраться и жизненного, и военного, и журналистского опыта и одновременно удержало бы меня в некотором отдалении от реальной бетономешалки. А на БАМе было интересно. Туда я действительно хотел и был уверен, что неизвестно как, но как-нибудь обязательно попаду,

что это обязательно произойдет со мной. Потом, правда, ехать на БАМ я передумал, но мог бы запросто поехать, если бы захотел.

Коваль-Волков равнодушно меня выслушал, пожал плечами, сказал, что к Железнодорожным войскам, в которые меня призывают, он не имеет никакого отношения, что стихи мои он будет читать, а я пока могу для вящей осведомленности позвонить в ГЛАВПУР<sup>8</sup> — и он так же равнодушно назвал фамилию и телефон какого-то главпуровского деятеля. Так я встал на кривую дорожку, которой шагаю до сих пор.

Надо признаться, что имя и фамилию человека, с которым мы ни разу не виделись, но который, не зная того, сыграл весьма значительную роль в моей жизни, я забыл. Что-то простецкое было, крестьянское, немодное тогда, типа Иван Матвеевич или Тимофей Иванович.

Далее, на следующий день, произошел следующий диалог:

— Слушаю, полковник Такой-то.

— Здравствуйте. Нельзя ли попросить Ивана Матвеевича?

— Тимофей Иванович в отпуске. А кто спрашивает?

— Это, понимаете, студент МИИТа, выпускник факультета «Мосты и тоннели», меня призывают в

---

<sup>8</sup> Главное Политическое управление Советской Армии и Флота.

Железнодорожные войска, в Чернигов, а я хотел бы служить корреспондентом газеты на БАМе...

Главпуровский полкан несколько мгновений переваривал услышанное — наверняка он с таким диким явлением сталкивался первый раз в жизни. Но очередной полковник не полез в карман за соломонным решением.

— Ну, и звоните в Главное Политуправление Железнодорожных войск. Чего вы сюда-то звоните?

— А какой телефон? И кто там?

— Сейчас...

И на том конце провода, даже не спросив моей фамилии, мне продиктовали телефон Политуправления Желдорвойск на Ольховке и фамилии двух полковников, курирующих политические и, следовательно, журналистские кадры в Железнодорожных войсках! Во как! Я думаю, тот главпуровец, ничтоже сумняшеся, продиктовал бы мне и телефон какой-нибудь казахстанской ракетной базы или точные координаты любой нашей атомной подводной лодки в Мексиканском заливе, если бы он знал, а я бы спросил. Правда, сообщенные мне сведения никак, я полагаю, не могли подорвать боеспособность Железнодорожных войск, попади они в руки вероятного противника, но даже за выдачу таких страшных секретов всего лишь лет за двадцать до 1974 года можно было схлопотать срок.

А дальше я позвонил на Ольховку, сказал, что Матвей Тимофеевич дал мне этот телефон и что у меня



просьба. Я был немедленно принят обоими газетно-железнодорожно-политическими кадровиками.

— А Тимофей Матвеевич? Как он там?

— В порядке. Он сейчас в отпуске.

Это соответствовало действительности и одновременно показывало мое короткое знакомство с Иваном Тимофеевичем, которое именно из-за отпуска Матвея Тимофеевича нельзя было проверить. И на моих глазах полканы начали оформлять мое назначение в газету на БАМ! Пока не наступила некоторая заминка, о существовании которой я по простоте душевной совершенно искренне даже и не подозревал.

— Вы кандидат или член КПСС?

— Я комсомолец.

Полканы перестали улыбаться и переглянулись.

Хотите верьте, хотите нет, но оба они, ну, чисто напоминали вдвоем Пата и Паташона. Один был длинный, мосластый, жилистый, как почтальон Печкин, только без хохляцких усов, но с таким же, как у Печкина и у моего деда Михаила Михайловича Тарасевича, длинным и крупным белорусским носом, а второй — коротенький, круглый, с круглой же и красной швейковской физиономией и носом пуговицей. Приняли они меня как своего, и тут вдруг выяснилось, что я не допущен и не посвящен. На секунду полканы почувствовали что-то, но, видимо, авторитет ГЛАВПУРа был настолько высок, что заминка тут же оказалась почти преодоленной:

мне предложено было вступить в партию, тогда меня немедленно перевели бы в газету на БАМ, а пока предложили временно послужить в Баку в должности секретаря комитета ВЛКСМ Отдельного батальона.

Появился еще один полковник — на этот раз азербайджанец.

— Курортный город! — заверил он меня, характеризуя свою малую Родину. — Особая часть.

И еще, представьте себе, полковник-азербайджанец произнес — тогда! — фразу, которую теперь то и дело произносят молодые, в частности, моя теперешняя сравнительно молодая подружка, от которой я этой фразой заразился:

— Будет клёво!

Я — уж так и быть — согласился. Немедленно необходимые документы были оформлены. Свершилось.

Помню, как мои однокурсники, с которыми мы вместе добирались к месту службы — в Чернигов, там — я не раскрываю никакую тайну несуществующего государства? — помещался штаб корпуса, оттуда уже следовало двигать в Баку — с удивлением, недоверием и завистью изучали мое предписание, где проставлена была будущая должность: «секретарь комитета ВЛКСМ». У всех у них в этой графе стояло «командир взвода» — после ротного это самая собачья должность в войсках, а хуже должности командира роты вообще ничего нет.

Товарищи мои пожимали плечами, не очень понимая, что существует такая освобожденная офицерская позиция как секретарь комитета ВЛКСМ. Прекрасная, кстати сказать, была должность. Прекрасная! Но я за два года побывал на разных должностях и во всех замечательно себя чувствовал. Когда я кому-нибудь говорю, что время армейской службы — самое лучшее время моей жизни, мне никто не верит.

Совершенно прелестно, что, разумеется, формально меня еще только должны были выбрать секретарем — видимая демократия, как всем известно, в СССР соблюдалась неукоснительно, в том числе и в армии. Но формальность, что прекрасно понимал каждый, оставалась только формальностью — это была крохотная часть огромной системы «выборов» с единственными кандидатами на всех уровнях всего и вся, с кандидатами, согласованными, реально назначаемыми, причем очень часто даже не на местах — то есть, на местах выборов, а где-то «наверху», зачастую даже неизвестно, на каком «верху».

Если, например, на каком-нибудь «срединном верху» кого-то назначили, а на более «верхнем верху» — тоже, срединный кандидат не имел никаких шансов. Меня назначило Политуправление войск, которое было информировано о вакансии и, собственно, только исполнило поступившую, по их мнению, директиву Главпура. Ниже, в корпусе, автоматически взяли под козырек и взяли под козы-



рек в бригаде. Меж тем в бригаде уже был кандидат на это место — пронырливый бакинский армянин, старший сержант срочной службы, ему оставалось полгода до дембеля. Тогда еще, напоминая, в Баку жили армяне. Он временно исполнял должность, ходил в некоем промежуточном между офицерским и солдатским обмундировании, пользовался полной свободой — ночевал, например, почти каждый день дома. Как же был он поражен моим неожиданным появлением! Не знаю, брали ли в армии тогда взятки деньгами, может, начальник Политотдела и брал — очень ушлый оказался мужик. Но уж, во всяком случае, коньяка было ему перетаскано, черной икры — наверняка ведрами и тоннами точно, и вот, на поди. Армянину хватило ума смириться, да и, собственно, ничего другого ему не оставалось. Он даже помогал мне на первых порах.

На этих аспектах вряд ли уместно тут останавливаться и посылать пустопорожние громы и молнии в прошлое, тем более — в прошлое почти поголовного конформизма. Да по молодости я не очень и понимал, что происходит. Единственное, что мне хотелось бы тут сказать, что богатыри — не мы.

Мой бывший тесть, ныне, увы, покойный, замечательнейший, редчайший человек Юрий Григорьевич Буртин, который точно в таком же возрасте в 50-е гг. работал учителем в костромской глубинке, предложил там вдруг — по мнению начальства, с Дона, с моря! — выбрать в Верховный Совет депу-

татом от костромичей Александра Твардовского. И развернул было предвыборную агитацию, ни в чем, разумеется, не отходя от заявляемых догм советской жизни. И Твардовский, кстати, был тогда в официальном фаворе. Но все равно действия тестя были партийным начальством расценены как подрывающие основы: Твардовский должен был избираться там, где ему укажут, а здесь — те местные товарищи, которым укажут. В этом и заключалось партийное руководство расстановкой кадров, на которое посягать было решительно невозможно, кадровые вопросы — священная корова КПСС.

Этот анекдот Ю. Буртин описал в своих воспоминаниях, а еще раньше рассказывал мне. Тогда он, будучи кандидатом в члены КПСС — искренне вступал, лишился серой кандидатской «корочки» и всяческих надежд получить когда-либо красную — стать членом.

Да-с, богатыри не мы. Я, написав недрогнувшей рукой и без всякого зазрения совести что-то — не помню, конечно, — типа «хочу быть в первых рядах строителей коммунизма» сказал не «Ай, да Тарасевич, ай, да сукин сын!», а сказал — это прекрасно помню — «Во, блядь!», относя профессиональное словцо, конечно же, не к себе, а просто выражая восторг от красоты происходящего. Стоявший за моею спиной капитан-парторг заржал, как жеребец.

Парторг был у нас добрым малым — за исключением того, что писал на всех доносы, и, помнится,

в шкафу у него хранилось какое-то вышедшее в тираж красное знамя — махровое, как откровение, с поникшими кистями, с развернутым профилем Кузьмича, синюшне-багровое; им парторг все время чистил сапоги, чего я, при всем своем молодом цинизме, долго делать не решался. Но потом и я чистил тоже.

Единственное, что могу тут добавить — не в оправдание, мне решительно не в чем оправдываться, тогда я действительно собирался стать офицером на всю жизнь, и надо было принимать правила игры; миллионы порядочных людей в СССР вступали в партию, чтобы просто спокойно заниматься тем, чем они хотели в жизни заниматься — единственное, значит, что могу добавить, так это то, что из партии я вышел раньше Ельцина.

А тогда мне уже предложили подполковничью должность в Москве — заместителем главного редактора маленькой военно-строительной газеты, поставив единственное условие — вступить в КПСС. Это был идеальный, как я думал тогда, вариант. Это и на самом деле был идеальный вариант — если бы не мои свободолюбие и навязчивое желание говорить стихами. Демобилизовывался я старшим лейтенантом, по приезде пошел бы в военкомат, где уже ждала бы меня разнарядка, и по существовавшему тогда закону вновь призвался бы уже капитаном. Проникшийся ко мне главный редактор газеты, полковник, через три года собирался в запас, и я в



звании майора занял бы, как он обещал — если бы, конечно, все шло, как задумывалось, но почему бы нет? — его место, и потом двадцать лет спокойно бы на нем сидел, то есть, стал бы точно таким московским полковником от сочинительства, каким и хотел стать.

Я был очень молод тогда. Это теперь я понимаю, что стать литератором можно лишь в одном случае — бросив жизнь под ноги литературе. Впрочем, наверное, это касается любой творческой профессии, потому что никаким творческим созиданием нельзя всерьез заниматься наполовину. А тогда я полагал, что, редактируя ту газету, можно было бы писать приличные стихи! И вообще быть свободным человеком — членом КПСС.

Армейских поэтов и писателей, кстати сказать, тогда было совершенно дикое количество. Ведь весь Союз писателей был частью советского общественного производства, и в армии писатели были официальной частью установленной общественной жизни — и те, и другие существовали со всеми полагающимися обслуживающими институтами. Они все издавали книги, числились членами СП и вообще замечательно себя чувствовали, хотя никто их — кроме таких же, как они — всерьез, разумеется, не воспринимал, относились к ним в штатских редакциях как к неизбежному злу.

Возможно, я не прав, и создание литературных произведений согласуется со службой. Достаточно

вспомнить Лермонтова и многих других — ведь мы все как-то забываем, что Лермонтов *действительно служил*, то есть, командовал, ходил в наряды, участвовал в нешуточных сражениях и проч. И успел написать все, что успел написать. И живопись, между прочим, вполне профессиональную оставил, а уж живопись требует сугубой усидчивости и определенного отрезка времени. И множество, как всем известно, было писателей-офицеров. Но все-таки мне кажется, что это совсем другая история. В XIX веке образованный человек — это был, как правило, офицер. Только и всего.

## 6.

В меня же первый раз шмальнули именно там, возле тропы Хо Ши Мина. Причем шмальнул опять-таки не террорист, а советский военный служащий, курсант БОКУ — было такое Бакинское общевойсковое командное училище. Теперь оно носит имя какого-то ихнего военначальника и готовит командные кадры для свободного Азербайджана. Азедбиржана, как говорил не Заратустра, а Михал Сергееч Горбачев. А тогда какой-то несчастный курсант, доведенный до отчаянья дедовщиной, ночью грохнул у себя в Училище трех патрулей, дежурного по парку и угнал БМП<sup>9</sup>, проломив, как рассказывали, при уgone кирпичную стену. Ну, советские БМП недаром покупают во многих странах мира, как и автомат Калашникова — надежные машинки. Курсант

---

<sup>9</sup> Боевая машина пехоты — легко бронированный гусеничный вездеход для перевозки отделения солдат.



угнал прибор и поехал кататься по городским окрестностям. Потом ему — заочно! — поставили диагноз «шизофрения», это всех устраивало (кроме родственников парня, но кто спрашивает родственников?). Дело закрыли.

А на БМП, чтоб вы знали, устанавливается крупнокалиберный пулемет — патрон там, если не ошибаюсь, 12,7 мм, так что когда попадает в человека, мало не кажется. И вот стоит душная южная ночь, не остужаемая прохладным ночным бризом, на небе горят звезды, цикады трещат. Лейтенант Тарасевич, дежурный по части, идет себе — галстук в кармане, рубашка расстегнута до пупа, кобура на пузе, в зубах сигарета. И вдруг вспышки по тьме и звук короткой очереди — «вду-ду-ду-ду!»; пули защелкали по асфальту в полуметре от моих ног. Стрелял на огонек. Чудо, что он не убил меня первой же очередью.

Бульдозер — основная, кроме драглайна<sup>10</sup>, боевая единица Железнодорожных войск — вот что меня спасло. И то, что бульдозер стоял рядом и — ножом от меня. И, конечно, спас мой эгрегор, который сам, не дожидаясь, пока я соображу, что происходит, выдал команду телу — в автоматическом режиме я рыбкой нырнул между гусениц, завоzilся там, пытаюсь повернуться, чтобы отстреливаться — отстреливаться я собирался! И действи-

---

<sup>10</sup> Экскаватор, в котором ковш подвешен к стреле на канатах.

тельно несколько раз выстрелил в сторону вспышек, пока бедолага садил очередями по гусеницам. Пули отскакивали от них с оглушительным звоном. Спасибо, не попал в бензобак, а то меня из-под Боевой Машины Желдорбата на следующий день вытащили бы в виде черного обгорелого полена.

Курсант перестал стрелять, глухо заработал двигатель, и все стихло. Полежав немного, я на всякий случай попытался пролезть с другой стороны — между ножом и гусеницей, пролез, помню, с большим трудом. Подумавши, я застегнулся, сколько мог почистился, пошел к телефону и позвонил оперативному дежурному в штаб бригады и командиру домой. Через час у нас было полно народу. Приехал недовольный и заспанный командир, приехал помощник оперативного дежурного бригады, прокуратура, менты, гэбисты и еще Бог знает кто. Утром, когда почти все чужие уехали, приехал еще и комбриг. А ночью с фонарями пошли к месту ужасного и жестокого нападения, излазили там все вдоль и поперек. Мне поспать так и не удалось — дежурный официально спит четыре часа утром, когда в часть придут все командиры подразделений. Но я вместо законного сна составлял, весь иззевавшись, бесконечные рапорта и отвечал на одинаковые вопросы приехавших.

Утром на ухах уже стоял весь Бакинский гарнизон, на автобусных остановках вооруженные патрули проверяли у подозрительных граждан докумен-

ты, ГАИ и ВАИ<sup>11</sup> свирепствовали — умора. Симуляция деятельности, как всегда, была громогласной и совершенно бессмысленной. БМП не спрячешь в сарае, парня застрелили в тот же день недалеко от нас. Сумасшедший на БМП, разумеется, представляет опасность для общества, был ли он на самом деле сумасшедшим, кто знает. Ким билир?<sup>12</sup>

Второй раз на меня покушались на Севане, в Армении.

На Севане, чтоб вы знали, в семидесятые годы строилась железная дорога — в горах нашли уран и золото, руду приходилось вывозить для обогащения, не в скалах же многокилометровые пробивать тоннели — даешь желдорпуть! Наши строили вместе с гражданскими. Причем единственным местом, где возможным оказалось проложить колею, был берег волшебного озера, берег потрясающей красоты и чистоты, с многочисленными, хотя и небольшими, санаториями на нем. Иногда отвесные скалы начинались прямо возле уреза воды, место для шпальной решетки оставалось минимальным, вода чуть ли не шпалы лизала, а иногда дорога прокладывалась прямо за санаторными корпусами, над головами отдыхающих. В общем, испортили, навсегда испохабили добрую половину севанского берега из-за этих сраных урана и золота. И как отдохнешь, когда над башкой то и дело грохочут товарняки?

---

<sup>11</sup> Военная автоинспекция.

<sup>12</sup> Кто знает? (азерб.).



Прелестно, что буквально через год первой моей командировкой в «Гудке» оказалась командировка именно на Севан! С боевыми друзьями я не встретился, армянские же строители, несколько встреченные явлением странного бородатого малого в джинсах, повезли меня на берег Севана поить и кормить последней, наверное, севанской форелью. Радужный прием не помог — коварный корреспондент имел четкое задание начальства приложить не поспевающих к сроку строителей, поэтому, все съев и выпив и получив две бутылки марочного коньяка в подарок, я неблагодарно написал разгромную корреспонденцию.

Еще помню, что, выйдя на свежий воздух и пуская струю в хрустальную севанскую воду, гость изрек:

— Прекрасный вид, но все портит железная дорога.

Хозяева мгновение переваривали этот вердикт вместе с ужином, потом раздался общий одобрительный смех — с юмором тут все было в порядке.

Впрочем, нет, не все. На меня, помню, большое впечатление произвел начальник стройтреста, к которому я и приехал. Нормальные люди, по моему разумению, делают нужные записи в какой-нибудь конduit у себя, в ежедневник или в блокнотик. А этот делал записи на бумажках и бросал их перед собою на стол. Мне очень понравилось.

Мы разговаривали, непрерывно звонил телефон, начальник треста выслушивал, что-то чиркал и бро-

сал перед собой бумажку. Гора таких же уже лежала перед ним, за время нашего разговора она существенно выросла. Очень сомневаюсь, что он потом разгребал эту кучу, вероятнее всего, ее в конце рабочего дня сметала в корзину уборщица. Поэтому и трест там был хреновый, плохо работающий не только из-за национального менталитета армян, слишком любящих хорошо отдохнуть.

И совершенно замечательная у них нашлась книжечка, специально выпущенная для строителей — кажется, она включала в себя Кодекс строителей коммунизма (такой существовал в СССР, но Библию из него Политпросвету сделать не удалось), еще какие-то советские заклинания и прочее. На обложке стояла ленинская цитата: «Мы *дойдем* к победе социалистического труда». Прекрасно, правда? Вместо «мы придем» — ми дайдом, да-а? Ну, чисто «армянское радио». Не говоря уж о том, что в те благословенные времена извращение слов вождя далеко не поощрялось, и некто, готовящий книжицу, как и сам начальник, могли из-за этой цитаты потерять работу и партбилеты. Но *никто не видел ошибки* — некому было.

А за год до встречи со знатоками ленинского наследия я прибыл с двумя взводами на Севан, на окраину маленького городка Варденис. Потом я стихи написал глубоко позитивные о варденисских красотах — к счастью, стихи не сохранились.

Туда, к Варденису, через несколько дней должна была передислоцироваться значительная часть всей

бригады, и меня послали на рекогносцировку — поставить палатки, разметить военный городок и выставить посты. Через час же после нашей выгрузки явилась ко мне делегация старейшин.

Помните стариков из «Белого солнца пустыни»? Вот примерно такие же ко мне пришли, ну, разве чуток покруглее. И парень-толмач, потому что старики по-русски не умели. Но всё понимали. Я выслушал, что «нам не нужна эта дорога» и гадко засмеялся. Все было смешно, в том числе и то, что старики надеялись, отправив отсюда лейтенанта с пятьюдесятью солдатами, решить все проблемы. Я даже весьма панибратски похлопал одного старика по плечу. И напрасно. Делегация повернулась и ушла.

Ночью я обходил посты. Светила полная Луна, на щебнистые склоны ложились глубокие тени. Гравий там буквально лежал под ногами, для будущего пути не пришлось возить его Бог знает откуда. На гребне склона под Луною я был отлично виден. И — «пахх!» — выстрел из охотничьего карабина. «Пахх!» — второй с другой стороны. Мимо!

Ясное дело, убивать никто меня не собирался. Даже дремучие старики там прекрасно, думаю, понимали, что убийство офицера не останется безнаказанным. Да и охотники в горах жили замечательные, вряд ли кто-нибудь мог промахнуться по отлично видимой, как в тире, цели. Пугали и предупреждали. А тогда я полагал, что меня спасла тут же подвернувшаяся в голеностопе нога. Я потом



дважды разбивал оба голеностопа на каратэ, и потом как-то в лесу буквально на ровном месте подвывихнул ногу, а тогда вывихнул в первый раз, хорошо еще, сапог удержал сустав от смещения — бросился бежать, это было единственно правильное решение, никакого оружия мне, слава Богу, не выдали, а то я стопроцентно начал бы пулять в ответ, и заварилась бы каша — бросился, на первом же шаге по сыпучему основанию оступился и покатился, путаясь в полах шинели и обдирая лицо и руки, по склону вниз, в темноту. И — замер там. Ни звука в морозном воздухе. На Севане в горах, как на Луне — днем очень жарко, а ночью очень холодно.

Через два дня прибыли два батальона, человек семьсот-восемьсот во главе с замкомбригом, приползли, как тянущие друг друга жуки-навозники, на прицепах вагончики, выбранные мною плато и относительно ровный склон украсился десятками палаток — словом, началась настоящая бивачная жизнь. Меня отправили с замотанной ногой в госпиталь, и вообще мое командование ротой на этом закончилось, так что я не знаю, как местное население договаривалось с начальством. Думаю, аборигенов просто послали на хрен — если, конечно, они решились явиться и к замкомбригу.

Кстати тут сказать, сейчас я знаю, что селиться на ровных местах в горах нельзя: ровные места — места прохода лавин и селей, которые периодически непременно повторяются и могут повториться

через тысячу лет, а могут и завтра, никто не знает, когда. Не одна, к сожалению, гостиница и не один пансионат, полные горнолыжников, так-то вот съехали с горных равнин вниз. Но бригаду, слава Богу, тогда никаким селом не смыло, а я получил очередную благодарность от комбрига, потому что инженерная служба целиком мой выбор одобрила.

Третий же случай стрельбы в вашего покорного слугу я по некоторым причинам, как и попытку меня зарезать, вспоминать не стану. Можно сказать, почти ничего героического. Несмотря на все это, служба, повторяю, мне очень нравилась. Кроме того, я подсчитал — около трети служебного времени (!) я находился вне части — в законных отпусках, на сессиях в Литинституте, на Совещании молодых писателей и в госпиталях (особенно выдающийся — первый случай госпитализации, вот когда я проявил настоящий политико-офицерский героизм!). Это не считая нескольких, иногда продолжительных, служебных же командировок вроде киевской учебы. Командировки тоже очень разнообразили рутинный армейский быт. Так что все сложилось просто замечательно. Если посчитать и последние два месяца, проведенные в бригадной газете, то получается, что около года из двух я, по сути, *не служил*. Думаю, многие позавидовали бы.

Тут, пока не забыл, хочу упомянуть об одном аспекте редакционной жизни, который был дорог только мне и высоко мною ценим. Общежитие мое

находилось в пятидесяти метрах от ворот нашей части, а газета — в одном из других батальонов бригады, наиболее близком к штабу, почти в центре города. Поэтому утром я шел минут десять до автобуса, потом ехал до конечной станции метро «Нефтьчильяр», проезжал несколько — не помню, три или четыре — остановки до станции «Нариманов», а там еще нужно было проехать немного на другом автобусе или пройти минут пятнадцать пешком. Все это чрезвычайно напоминало обычное московское утро — ко времени окончания института мы переехали к «Водному стадиону», и ужасно раздражавший и до сих пор ужасно раздражающий меня автобус, без которого нельзя попасть в метро, там воспринимался как нечто свое и родное, связывающее меня с Москвой.

Но сначала о поистине замечательном поступлении в будущие писатели.

В год окончания МИИТа, в год призыва — 1974-й, я подал заявление в Литинститут и перед самым отъездом из дома получил по почте уведомление, что я прошел творческий конкурс и приглашаюсь для беседы и сдачи экзаменов. Стихи тогда у меня были откровенно слабыми, чего я, конечно же, еще не понимал, потому и прохождение свое творческого конкурса без всяких тогда оснований воспринял как вполне законное дело. Прекрасно помню, что являться на собеседование необходимо было ровно через две недели после той даты, к которой мне было



необходимо явиться в корпус в Чернигов. Через несколько дней я был в Баку, всё с моим назначением прекрасно устроилось, и мне хватило ума вообще не заикаться в части про Литературный институт. Тем более, что буквально через несколько дней я вместо приятного собеседования в Приемной комиссии попал в госпиталь почти на месяц — об этом позже.

Через год я подал документы во второй раз — послал по почте. К изумлению своему, получил по почте же полный отлуп. Это действительно меня изумило, потому что я еще не знал, что по почте в литературном мире обычно ничего добиться нельзя, а кроме того, я за прошедший год набрал множество фишек по нескольким сразу направлениям.

Во-первых, я написал несколько достаточно приличных — не только на мой взгляд — стихотворений.

Во-вторых, появилось у меня несколько публикаций — в «Смене» большая, с большим же предисловием Владимира Соколова, в «Студенческом меридиане» пара стихотворений, пара в альманахе «Поэзия», пара в «Гудке», пара в русском «Литературном Азербайджане», где я потом много-много лет печатал стихи, рассказы и переводы, несколько подборок в окружной газете ЗакВО<sup>13</sup>, выходящей в Тбилиси — в большой, настоящей (по размеру!) газете,

---

<sup>13</sup> Закавказский военный округ.

а в нашей «дивизионке», в которой я потом два месяца гордо рассекал, дали целую полосу с фотографией — вот, мол, какой у нас в бригаде служит теперь московский хмырь. В «Смене» же появился мой первый прозаический опыт — эссе «Ломоносов» (именно там я впервые в советской печати — если, конечно, не ошибаюсь по части своего приоритета — ясно сказал, что Ломоносов, разумеется, никаким крестьянским сыном не был, а был сыном *владельца флотилии небольших баркасов-гукаров*, а то, что сам владелец и его сын выходили вместе со своими людьми в море на лов, так это тогда считалось в порядке вещей; рассказал я, и как возникла легенда про крестьянское происхождение, и с какого Дона, с моря Михайло отправился в столицу — вовсе не за знаниями). Эссе я потом включил в свой первый прозаический сборник, а «Смена» дважды переиздавала в сборниках таких же эссе, посвященных русским писателям, так что это уже была речь не мальчика, но мужа. Кроме того, напечатаны были две или три мои литературные рецензии (журналистика не в счет). И даже на азербайджанском языке я тогда напечатался — в городской газете меня перевел поэт, которого я тогда впервые начал переводить на русский (помню, он извинился, что вместо четырех моих четверостиший у него получилось три — прелестно, правда?)

В-третьих, я в 1975 г. стал участником VII Сопевания молодых писателей (в Политотделе бри-

гады еще не понимали, что это только начало), что, несомненно, означало, что я окончательно посчитан.

В-четвертых, я был уже не мальчишка-студент, а офицер и кандидат в члены КПСС, солидный человек. Меня не могли не принять в какое бы то ни было советское учреждение, в том числе и в Литинститут — при, разумеется, первых трех пунктах из этого списка. Да что там — вполне достаточно большой публикации центрального журнала с предисловием первого поэта России, чтобы, худо-бедно, но творческий конкурс-то пройти! И «Литературная газета» тогда отозвалась на эту первую мою публикацию короткой рецензией! Словом, более, чем достаточно.

Потом я понял, что бывает в Литинституте, когда идет вал рукописей поступающих, и пришедшие по почте рукописи читают все, кому не лень, чуть ли не уборщицы. Уборщицы у нас, правда, все тогда были литературные, словно официантки в Голливуде — все потенциальные киноактрисы.

Повертел я отказ в руках, пожал плечами и решил плюнуть слюной. Год ничего не решал, через год я подал бы документы снова.

В те дни я собирался в отпуск, а меня все не отпускали. В бригаде намечались масштабные КШУ — Командно-штабные учения, ожидалось московское начальство и прочее. По штату КШУ я был расписан офицером связи бригады — комбриг



уже хорошо знал о моих тогдашних способностях проходить сквозь стены (эх! где они теперь? укатали Сивку крутые горки!), и командира части такое назначение по ряду причин устраивало.

КШУ все не начиналось и не начиналось, меня все не отпускали и не отпускали. Про Литинститут я, ей же Богу, тогда и думать забыл. Но межеумочное чемоданное настроение мешало, в том числе и — делу, я явился к командиру и Христом Богом попросил отпустить, клятвенно обещая по первой же телеграмме втереться в первый же самолет в Баку. Командир, надо сказать, мне все два года мирволил и называл все время, в том числе и в строю, Игорем Палычем. Он покрутил головой, позвонил комбригу, переговорил и сказал мне:

— Вали Ахмедов. Но по первому.. Понял?

— Та-ак точно!

Далее начинается игра чисел. Я подробно об этом рассказываю, потому что числа очень важны. Отпуск у меня начинался с 9 августа, и в ночь с 8 на 9 я взял билет на самолет. Летал тогда в очередь с ТУ-134 еще и ИЛ-18 — шумная и тряская, как деревенская телега, и, кстати сказать, не очень надежная машина — действительно, как деревенская телега, у которой, гляди, то и дело грозит отвалиться колесо. ИЛ летел более четырех часов, Ту — менее трех, я как раз любил летать на Илах — садился в кресло, тут же рефлекторно, как павловская собака, засыпал и просыпался от толчка колес о бетон-

ку; очень удобно, а за два с половиной часа на ТУ было не выспаться.

Вечером 8-го я должен был выступать по азербайджанскому телевидению с чтением собственных сочинений. На телевидении надо было скрывать, что я офицер — ну, не любила творческая азербайджанская элита офицеров, я проходил как местное русскоязычное дарование. Поэтому мне надо было собраться, поехать на телевидение в штатском — штатского у меня, по сути, не было, я специально за несколько дней до выступления купил черные штаны и ужасную красную рубашу с неизвестными прогрессивной общественности бурыми цветами, действительно похожими на клопов; такая рубаша, по моим представлениям, делала меня почти местным — надо было явиться в штатском, выступить, а потом быстро смотаться домой, переодеться в форму, подхватить чемодан и — в аэропорт.

Вообще с азербайджанским телевидением, кстати тут сказать, у меня как-то не задалось. Например, через много лет в Баку проводились дни русской литературы. В зале городской филармонии я оказался первым выступающим из всей делегации. Городская бакинская филармония, чтоб вы знали, расположена почти на берегу, у границы знаменитого не меньше, чем одесский, бакинского приморского бульвара. Все окна в филармонии открыли, но жара даже вечером не отступала, с моря валиладвигающаяся в воздухе влага, ночной бриз не уста-

новился еще, вода буквально струями стекала не только с рук, а с любых предметов, конденсируясь на металле и стекле. Неудивительно, что как только я вышел к микрофону и взялся за штوك, чтобы вытянуть его повыше и поудобнее, меня немедленно и коротнуло. Шла прямая трансляция по телевидению.

Со стороны это выглядело так: выходит Тарасевич, хватается за микрофон, тут же отдергивает руку и громогласно произносит, усиленное динамиками:

— Блядь!

Люди в зале, разумеется, попадали под стулья — насколько позволяли проходы. Почти каждый тут меня знал и я знал почти каждого. Я под смешки и хихиканье быстренько зачитал перевод стихов одного из переводимых мною поэтов. Больше меня никогда и никуда в Азербайджане не приглашали. Правда, в тот же вечер я еще один раз неплохо выступил, и это второе выступление, думаю, сыграло куда большую роль в изменившемся ко мне отношении, чем мат в прямом эфире. Об этом потом.

А тогда, в 1975-м году, я все подготовил, явился к телецентру, и тут выяснилось, что мое историческое выступление перенесли на два дня — с 8 на 10-е.

Любой нормальный человек еще раз плюнул бы слюной и спокойно полетел бы домой. Тем более, что являться в часть после того, как я неделю канючил, что мне именно сейчас непременно надо в Москву, и просить перенести отпуск на два дня было



бы вопиющим пижонством — такая мелочность не пристала гусару. Но я был мальчишкой тогда, и мне очень хотелось выступить по телевидению. Я поехал в аэропорт и обменял билеты на вечер 10-го. Потом два дня валялся на пляже, сидел в библиотеке (хотел заново переводить одного средневекового азербайджанского классика, слава Богу, не пришлось), посетил 9-го вечером — не помню, с кем — театр. Все эти два дня я принципиально ходил в дикой той рубашке — меня в ней с первого взгляда не узнавали даже такие же, как я, ребята-лейтенанты, соседи по общаге.

Если бы я прилетел в Москву 9-го, я, вероятнее всего, просто не зашел бы в Литинститут. А тут я 10-го удачно выступил, хотя волновался ужасно, вернулся; еще оставалось довольно времени. Не торопясь, я переоделся и, помахивая чемоданом, направился к автобусу. Помню, по дороге еще встретил товарища, и некоторое время мы стояли и разговаривали. Почта помещалась возле автобусной остановки, машинально я зашел — меня все знали в поселке и на почте — и спросил, нет ли писем. Мне подали письмо из Литинститута: «Вы прошли творческий конкурс и приглашаетесь на собеседование 12-го августа». Потом выяснилось, что в Приемной комиссии производили проверку отказов и наткнулись на такое буйное явление природы, как ваш покорный слуга.

## 7.

Я вышел из дверей почты и замер, как соляной столб.

Дело в том, что в советское время — не знаю, как сейчас, наверно, за деньги все можно — для получения второго высшего образования, как и образования заочного, полагалось получить разрешение по месту работы — вполне официальную бумагу с подписью и печатью. Что являлось, кстати сказать, конституционным нонсенсом, потому что, в рассуждении права граждан на образование, такого разрешения *не могли не дать*. Но любое предприятие по закону должно было оплачивать пребывание заочника на сессиях и даже проезд к месту учебы — почему-то в один конец, словно бы профком не мог надеяться на благополучное возвращение студента после сданных экзаменов. Такой вот односторон-

ней была социальная поддержка учащихся, но и за нее горячее мерси. Предприятие ставилось перед фактом грядущей многолетней отлучки работника на два месяца в году, кроме обычного отпуска — за счет же предприятия. Ну, счета и суммы на них тогда были чужие, но все равно тут возникали, как говорится, варианты. Какому начальнику понравится, что работник вместо дела занимается такой ерундой, как «учеба на писателя»?

Когда я год назад подавал документы, я запасаюсь справкой, которую мне, не глядя, подмахнули в деканате — я был отрезанный ломоть, декану было все равно: очень уважаемый во всем МИИТе старик-декан умер в год моего выпуска, врио назначили молодого и чрезвычайно легкомысленного профессора, которому я, кроме замечательной справки, обязан, думаю, и МИИТовским дипломом — диплом я один к одному передрал из проекта, прекрасно помню, 1896 года, да и чертежи были чудовищны, и любая самая поверхностная проверка вычислений показала бы их полную несостоятельность — я вообще ничего не вычислял, а просто высасывал приблизительно подходящие цифры из пальца.

Окончательно утверждать диплом к защите должен был завкафедрой «Проектирование мостов», который, находясь в трезвом уме и доброй памяти, ни за что в жизни диплом бы мне не подписал — помню, как на моей защите этот добросовестный



человек с ужасом смотрел на результаты моего первого и последнего в жизни проектирования, и я единственный из всего курса получил за диплом «тройку». Даже студент из Монголии, широко известный в институте из-за того, что на экзамене по истории КПСС назвал Ленина главным оппортунистом, получил «четыре».

А врио был, говорю, легким, спасибо ему, мужичком, шейные платочки все, помню, носил, как Вознесенский, и истово поклонялся битлам — я дождался, когда завкафедрой отсутствовал и утвердил у декана весь диплом. Этот самый человек и подписал справку в Литинститут, не очень задумываясь, *что* он подписывает: один институт рекомендует своего студента (так и было написано — «студента 5-го курса») для учебы в другом и — совершенно другом — институте. Вообще текст состряпанного мною лично МИИТовского «разрешения» был просто безумным со всех точек зрения.

В армии практика подобных разрешений тоже, конечно, существовала, причем очень сложная. Офицер писал рапорт непосредственному начальнику — скажем, командир взвода командиру роты: «Капитану Пепкину. Прошу разрешить мне заочную учебу в Таком-то институте. Лейтенант Пупкин». Пепкин накладывал резолюцию: «Не возражаю. Капитан Пепкин». Рапорт поступал на одну ступеньку выше по служебной лестнице к майору Пипкину. Тот тоже накладывал резолюцию: «Не возра-

жаю. Майор Пипкин». Далее рапорт шел выше, к полковнику Попкину. Попкин: «Не возражаю. Полковник Попкин». И так далее. Непосредственно *разрешал* учиться лично Начальник Рода Войск Советской Армии. Если, скажем, рапорт писал танкист — Главный маршал, командующий Бронетанковыми войсками, если летчик — Главный маршал, командующий ВВС Советской Армии и проч. Главные маршалы, разумеется, не входили в проблемы лейтенантов Пупкиных по всему СССР, они в числе множества ежедневных приказов в папке «На подпись Главкому» получали от порученцев динный обобщающий список из сотен фамилий, который, не глядя, и подмахивали.

И в артдивизион Пупкина приходила бумага: «Лейтенанту Пупкину учебу в Таком-то институте разрешаю. Главный маршал артиллерии Пупенжопов». Подпись Пупенжопова отсутствовала, стояло только «Выписка из Приказа №... от ... верна. Прапорщик Пупенькин». И с благословляющей подписью прапорщика лейтенант отправлялся к высотам науки. Прохождение бумаг снизу вверх и потом обратно сверху вниз по всем инстанциям занимало месяцы.

То же самое касалось учебы в военных академиях, вокруг поступления в которые разворачивались настоящие трагедии. Ведь на каждой ступеньке лестницы любой козел мог по своему разумению не дать рапорту хода. «Рано ему учиться в академии,

пусть порядок в роте наведет сначала. Полковник Попкин», — я видел подобные резолюции на рапортах. А один особо умный командир батальона у нас в бригаде — потом его сняли за пьянку — любил накладывать такие незабвенные резолюции: «НХ». «Н» тут означало «на».

И вот что мне было делать теперь, за два дня до первого экзамена? Бежать обратно в часть? Что там говорить? Никто в части ничего разрешить мне не мог по определению. И даже за месяцы никакого разрешения учиться генерал-полковник, Начальник Желдорвойск, не дал бы двухгодичнику — это явное, конечно, баловство было бы уже, а не служба.

Я прилетел в Москву, явился в Литинститут и поступил. А вместо разрешения от генерал-полковника подал *прошлогоднее МИИТовское разрешение!* Перед человеком, проводящим собеседование — кажется, это был доцент русской литературы Богданов, которому я потом все экзамены сдавал досрочно — сидел офицер в военной форме, а Богданов прочитал «дано студенту 5-го курса Тарасевичу Игорю Павловичу в том, что Деканат факультета «Мосты и тоннели» не возражает против обучения его в Литературном институте им. А.М.Горького» и спокойно пришил справку в скоросшиватель. Спасибо ему! Ну, шарага наш Литинститут, шарага!

Никаких учебников, ничего у меня не было. Зато у моей женщины в Москве был младший брат —



ученик пятого класса. По учебникам для пятого класса я и готовился по русскому, истории и французскому. Розенталя тогда оказалось не достать, мне знакомые с великими трудами достали, только когда я уже сдал экзамен. На последнем экзамене — истории — меня уже откровенно тянул профессор Водолагин. Досталось мне Ледовое побоище и, стыдно признаться, только в карте к учебнику 5-го класса, которой разрешалось на экзамене пользоваться, я вычитал, в котором Побоище состоялось году. Это сейчас я считаю себя чуть ли не спецом по русской военной истории и вообще по истории — люблю это дело, а тогда я был чистый, как белый лист.

А дальше начинается еще один большой анекдот в моей армейской службе.

1-го сентября, совершенно счастливый, явился я на установочную сессию. И тут узнал — не помню подробностей, но выяснилось, что установочную сессию, кровь из носу, почему-то обязательно требовалось пройти всю до конца — три недели! — и сдать обязательно три зачета потом. Иначе, что-то такое помню, чуть не отчисляли без права пролонгированной сдачи зачетов, и вновь надо было на следующий год поступать, чтобы оказаться вновь на первом курсе. Второй раз такой фокус, я чувствовал, мне бы не удался. Следовало зацепиться за институт именно сейчас.

Ясно помню сей императив. Что, почему?

В Литинституте — я уже знал — люди учились десятилетиями, Евтушенко, согласно апокрифу, двенадцать, кажется, лет — не помню. Мой товарищ Миша Молчанов учился шестнадцать лет в общей сложности. То, что он экзамены периодически не сдавал, ему (и не только ему) легко прощали, люди только к диплому сдавали некоторые экзамены за курс третий, а то и второй. Один мой товарищ, очень хороший человек, но не очень продуктивный писатель, поступил в институт с четырьмя рассказами, шесть лет каждый год подавал их в творческий зачет и с этими же четырьмя рассказами защитил диплом — словом, шарага, шарага. Мишу же исключили только после того, как он трахнул тогдашнюю (ну, чрезвычайно сексапильную, решительно все мужики на улице оборачивались) ректорскую секретаршу прямо на ректорском же огромном красного дерева столе среди бела дня — ректор Пименов, сами понимаете, в тот счастливый миг отсутствовал в кабинете, но другие — застукали. Потом Миша с секретаршей переместились, разумеется, на диван, но и стол вместе с диваном тоже был осквернен. Вот этого потрясшего институт подвига Пименов Мише не смог простить. Так потом Миша через много лет, будучи уже прощенным женою и вернувшимся в лоно семьи седовласым мужем и отцом, при другом ректоре восстановился и благополучно получил диплом.

А тут вдруг с первого курса чуть ли уже не выгоняют. Отпуск мой, прекрасно помню, заканчивался 3-го числа. И я отправился на Ольховку к полканам, которые меня год назад зарядили в Баку. Выросшие за отпуск усы, помню, ужасно жалко было сбривать, тем более я знал, что вновь отрастить — не дадут, потому что готовые усы, с которыми ты в одночасье в армии проснулся — одно, а перманентная *небритость* — совершенно другое. Я и на студенческий билет, как я уже упоминал, сфотографировался в усах. Вздохнул я и усы оставил.

Вот именно студенческий и явился поначалу камнем преткновения в состоявшемся разговоре.

Полканы с изумлением выслушали мое признание в поступлении, веря и не веря.

— А ну, покажи студенческий билет!

Я подал еще негнувшийся, пахнувший типографской краской синий студенческий, они развернули — я там на фотографии с усами и в пиджаке! Конечно, это было антиармейское хамство с моей стороны — сфотографироваться в штатском.

— А, так ты скрыл, что ты офицер! А-а! — и понеслось.

Я же мало того, что не скрыл — на все экзамены приходил в форме, справедливо полагая ее дополнительным оружием в психологической атаке на преподавателя. Не я один такой оказался умный — еще драматург Володя Попов, уже давно демобилизовавшийся двухгодичник (не помню, где и кем он



служил) приходил на все экзамены в парадном сине-зеленом мундире с золотыми погонами. А 1-го сентября мы оба явились в штатском и оба захохотали, глядя друг на друга.

— Так чего ты хочешь, лейтенант? — спрашивали полканы.

Я вытащил заранее заготовленный рапорт на имя тогдашнего Начальника Политуправления войск генерал-лейтенанта Майорова (такая была военная фамилия) с просьбой продлить мне отпуск на время сдачи установочной сессии. Полканы засмеялись, чуть ли не пальцем на меня показывая. Мне было сказано, что я наглый нарушитель порядков. Это было сущей правдой.

В моем положении, однако, заключалось много выигрышного. Когда я мысленно с армией распрощался, мне, в отличие от кадровых офицеров, *не надо было делать карьеру*. Меня невозможно было ничего лишить. Ну, вот, допустил я серьезное нарушение — поступил без разрешения в институт. И что? Обычного офицера сослали бы в дальний гарнизон, не пускали бы на сессии, понизили бы в должности. А с меня что возьмешь? Меньше, чем через год я оказывался вольной пташкой. И дальних гарнизонов я не боюсь, потому что понимаю — временно, это приключение, это экстрим для поднятия адреналина, это не плохо, а как раз хорошо. А люди, между прочим, всегда чувствуют твое внутреннее состояние и всегда поступают соответствен-

но — на этом, кстати сказать, основано большинство современных психологических практик.

Я отлично помню, как я *буквально переродился* в те дни. Все оставшиеся месяцы службы я испытывал удивительное, ни с чем не сравнимое чувство свободы — в заведомо несвободной среде. К сожалению, больше никогда в жизни такого чувства свободы я не переживал. Дело, конечно, заключалось не в самом поступлении в Литературный институт. Поступление стало внешним проявлением смены внутри у меня всей крови. С той поры я, честно сказать, забил некий орган на службу. Вот этого я стыжусь, как без смеха горжусь первым своим армейским годом.

Полканы потребовали, чтобы я немедленно убрался в часть, а я со спокойной наглостью в ответ потребовал, чтобы мой рапорт немедленно же доложили Майорову. Полканы еще помнили, как я у них появился год назад и на всякий случай согласились.

— Ну, смотри, он сегодня не в духе. Мы тебя похорошему предупреждаем. Поедешь вместо Баку на губу.

— Ничего.

Майорова я никогда до той поры не видел, он вполне мог оказаться полной копией корпусного генерала.

Я вышел на лестничную клетку и закурил.

Сейчас надо бы, как Тынянов в гениальном «Малолетнем Витушишникове», присовокупить к

тексту какой-никакой планчик местности, но я словами.

Представьте себе узкую лестничную клетку, в которую углом буквы «Г» упираются два сходящихся коридора. На площадке стоит урна — тут курят. И вот из одной из дверей этого «Г» выходит пузатенький генерал-лейтенант в рубашке без кителя и мимо лестничной клетки — и мимо меня — направляется в другую палку этого «Г».

А в Советской Армии, как и в любой другой армии мира, честь полагалось отдавать и внутри помещений, и без головного убора. Только, в отличие от, например, армии американской, к голове без головного убора клешню не прикладывали, а лишь с прижатыми к бокам руками особо четко, выделанно и резко фиксировали поворот головы в сторону старшего военачальника, словно бы при выполнении команды «Равняйся!». Разумеется, все это сохранилось и в наши дни в Российской Армии.

Увидев генерала, я утрированно, предварительно подняв локоть руки, в пальцах которой был зажат чинарик, бросил сигарету в урну, затем, как паяц, щелкнул каблуками, выпятил вперед подбородок и резко повернул к генералу голову, фиксируя следование мимо меня Его Превосходительства. Сам сообразить ничего не успел — с чего я выебывался, Бог знает. Эгрегор, как всегда, в решающую минуту пришел на помощь и помимо меня выдал команду мышцам.



Генерал проследовал мимо, тоже благосклонно отдав мне честь — повернув голову и даже (ей Богу!) прижав на мгновение руки к лампасам. Он зашел куда-то, а я закурил новую сигарету. Успел я сделать максимум пару затяжек.

Генерал мой вышел из другой палки «Г» и направился мимо меня обратно в первую палку.

Я проделал те же самые маневры — картинно бросил сигарету и вновь отдал честь — теперь сопровождая поворотом головы движение начальства в противоположную сторону. Генерал вновь возвратил мне честь и скрылся, как фантом.

Ну-с, третью сигарету я все-таки докурил, отправился в столовую, пообедал, пописал, еще разок покурил и зашел к полканам. Оба при виде меня чуть не в ужасе откинулись на стульях, как при виде привидения.

— Разрешите, товарищ полковник? Разрешите спросить — доложили?

— Ваше дело решено.. ре... но..., — теперь на «вы» произнесли они несогласованным дуэтом.

Оказалось, что гуляющий по коридорам генерал-лейтенант и был тем самым генерал-лейтенантом Майоровым, к которому я пытался пробиться. Он так поразился моему строевому молодечеству (свои, видимо, не баловали), что, зайдя к порученцам и спросив, что это за усатый лейтенантик курит на лестнице и что ему надо, взял мой рапорт и, не заходя к себе, наклонившись над столом порученца, нало-

жил резолюцию. Резолюция немедленно была мне предоставлена — косо в левом верхнем углу моего рапорта стояло: «Предоставить дополнительный отпуск до 20 сентября для сдачи установочной сессии в Литературном институте». Далее следовала большая буква «М» и закорючка при ней.

Господа, я ничего не выдумываю, все именно так и произошло на самом деле.

Надо тут заметить, что я, ничего не делая, отплатил генералу сторицей — если он в тот день встал в плохом настроении, а я ему тонус-то поднял, выказав строевую хватку и предоставив возможность свершить доброе дело, что всегда резко улучшает настроение. Могу вслед за многочисленными отцами разных Церквей рекомендовать добрые дела как средство избавления от депрессии.

В тот же вечер дома я под роспись получил телеграмму «Немедленно явитесь в часть». Я даже не позвонил. А в часть пришла телефонограмма «Лейтенанту Тарасевичу отпуск продлен до 20 сентября для сдачи установочной сессии в Литературном институте им. А.М.Горького. Генерал-лейтенант Майоров».

Командир тогда на меня — и справедливо — обиделся. Он решил, что все мои предварительные маневры с отпуском специально проводились для поступления в институт. Действительно, не отпусти он меня тогда, жизнь пошла бы по другому руслу. А лафа моя на службе могла кончиться, но на самом

деле только, как потом выяснилось, началась, потому что вместе с чувством свободы неизбежно приходит удача.

Самое смешное, что это была только первая половина моих литинститутовских приключений с участием генерала Майорова. Потому что пришла пора первой настоящей сессии — по окончании первого курса, я получил законный на нее вызов и подал рапорт на отпуск. Немедленно же и с огромным удовольствием мне отказали.

— Где разрешение учиться?

— А вот, генерал-лейтенант Майоров...

— Э, нет. Он тебе *ту конкретную сессию* разрешил сдавать. А разрешения на учебу у тебя нет. Так что дослуживай нормально, нечего. Был отличным офицером, мы тебя в академию хотели, а теперь стал сачком...

Далее последовала пространная инвектива.

И командир части, и редактор многотиражки совершенно не желали мне помогать — редактор по вполне понятной причине: я один мгновенно, как фокусник, делал всю газету от начала до конца.

Распустился же я к концу службы, действительно, невероятно. Два месяца в редакции многотиражки — я являлся утром в понедельник на службу, за полдня делал газету и чуть ли не на всю неделю отправлялся гулять — сильно меня испортили; за молодыми людьми необходим контроль, не все обладают должной твердостью, чтобы противостоять



благоприятным обстоятельствам. Я — тогда — не обладал. Работая в редакции, я официально числился в части, но командир даже не мог в наряд меня в очередь со всеми офицерами отправить.

Я бесстыдно попытался договориться с начальником Политотдела бригады — тот тоже мне мирволил все два года службы, но начальник Политотдела сказал, что сам он решить этот вопрос не может, а генералу в корпус звонить не станет, потому что генерал прекрасно помнит мою фамилию, не однажды заворачивал мои награждения и поощрения, и даже хотел отправить меня на БАМ, и передумал только тогда, когда ему сказали, что я сам хочу на БАМ! У меня в Киеве (нас тогда передали из черниговского корпуса в киевский) был знакомый — еще один! — и расположенный ко мне полкан в Политотделе, я ему позвонил, и он, улучив момент, попросил за меня генерала, так тот специально позвонил в Баку, чтобы меня не отпускали в Литинститут. Слава Богу, это случилось, когда уже я пребывал в Москве. Во как заело!

Но и меня заело тоже. Чё такое, в конце-то концов! Имею я право поехать на сессию или нет? Я не имел такого права, но искренне полагал, что имею.

А при прошлогоднем разговоре в приемной у Майорова мой эгрегор оказал мне еще одну неоценимую услугу. Желая поблагодарить генерала лично(!), я вдруг спросил у полковников номер его домашнего телефона, и, находясь в шоке от моего

успешного демарша, полканы номер мне выдали! Тогда, к счастью, я не позвонил, но номерочек сохранил.

И вот приехал я в редакцию, помню, часов в 8 — с молодости я привык вставать очень рано и до сих пор позже 6-и просыпаюсь очень редко — сел за стол и задумался. Можно было, опять-таки, сообразуясь с указаниями товарища О. Бендера, плюнуть слюной, как до эпохи исторического материализма, тем более, что теперь я мог сдать сессию задним числом, но я снял телефонную трубку и срочный заказал разговор с Москвой. Через несколько же минут в трубке раздались сопение и кряхтение проснувшегося медведя — я своим звонком генерала разбудил и поднял с постели. Кстати сказать, я и обращаться-то к нему через множество вышестоящих голов не имел права. Но что мне было терять, кроме своих цепей? Приобрел же я весь мир.

— Эуухрр... Кто? Хрр-гмм... Что?

Я как можно быстрее выпалил единым духом, чтобы он меня не прервал и не успел послать на хрен:

— Разрешите обратиться, товарищ генерал-лейтенант?! Старший лейтенант Тарасевич из Баку! (мне тогда уже кинули «старшего») Которому вы в прошлом сентябре продлили отпуск для сдачи сессии в Литературном институте! Я к вам являлся в Политуправление! Сейчас опять сессия, а меня не отпускают! Прошу вашего разрешения, товарищ генерал-лейтенант, сдать сессию!

— Ну, — проговорил он после секундного замешательства вполне доброжелательным басом, решивши, видимо, оставаться последовательным. — Что ж не могут решить такой пустяковый вопрос... Скажите полковнику Овсянникову, чтобы он позвонил мне на службу в двенадцать часов.

— Есть! Разрешите положить трубку?! (замечательная, кстати, армейская формула, часто необходимая и в гражданской жизни). Есть!

Час я спокойно ваял газету, а после девяти соединился с начальником Политотдела.

— Разрешите доложить, товарищ полковник? Генерал-лейтенант Майоров ждет вашего звонка в двенадцать часов.

— Что?! — пискляво и испуганно. — Ты сам с ним говорил?

— Так точно.

В 12.15. телефон мой зазвонил. Я снял трубку и выслушал чудовищный десятиминутный, наверное, мат Овсянникова. Когда он позвонил генералу, тот, по всей видимости, всыпал ему не только за то, что он «не может решить пустяковый вопрос», но и вспомнил, как в таких случаях часто бывает, какие-нибудь прежние провинности или еще что, надавал тычков за то, что я его разбудил из-за пустяка и так далее.

— В немилость из-за тебя попал! — вот что красной нитью проходило в словах бедняги.

В армии попасть в немилость к начальству — чрезвычайно серьезное дело. Полковника началь-



ник мой получил сравнительно недавно, мечтал, разумеется, сменить три звезды на одну, и вот такая вдруг непраха из-за лейтенанта Тарасевича с его сраным Литературным институтом!

— Передай, блядь, трубку редактору!

Я крикнул, чтобы редактор взял трубку, телефоны в редакции стояли запаралеленные, и я услышал.

— Придется все-таки эту суку послать в Литературный институт.

Для редактора эта новость стала просто-таки подлым ударом ниже пояса. Но прежде, чем перейти к рассказу о самой редакции, — последний армейский анекдот, связанный с Литинститутом.

Сессия точнехонько пришлась на заключительный месяц моей службы. Заканчивалась она 31 июля, и дембель мне выходил 31 июля. Я убыл на сессию, а потом вернулся практически за вещами. Так пока я находился в Москве, в часть пришло указание демобилизовать старшего лейтенанта Тарасевича на месяц раньше срока! Неслыханное, немыслимое дело! Честно сказать, не знаю, кто инициировал мою несостоявшуюся досрочную демобилизацию и зачем. Могу только предположить, что, например, корпусной Начпо решил поскорее избавиться от меня армию и свою память. Но я нормально сдал экзамены и вернулся в часть, и пока оформлял документы, покупал билет и отправлял контейнер с вещами (большую часть которого занимали книги — ими я, к удивлению боевых товарищей, после-

довательно обзаводился все два года) — тоже подвиг в советском Баку, — командир успел на прощанье раза три засунуть меня в наряд — словно ВОХРовца, через два дня на третий.

Редактора же я сильно подвел. Он уже привык все на меня перекладывать. Я, конечно, иногда выезжал из редакции в батальоны — большинство их находилось в пределах досягаемости от Баку, и можно было за день-два обернуться, взяв интервью или посмотрев на какую нужно фактуру. Но везде у меня служили, разумеется, однокашники или приятели, так что обычно подготовка газеты начиналась с того, что я садился на телефон и обзванивал части. Получал информацию и официальную, и неофициальную. Неофициальная, впрочем, практически никогда не надобилась, но всегда мною учитывалась. Записывал фамилии. Потом я придвигал машинку, высоко поднимал — это был ритуал — над клавиатурой обе руки, как пианист над фортепьяно, и — «там, пам, пам-пам, та-ри-ра-ра, пам, пам-пам» — выбивал мелодию. Нарращивал мясо на те информационные кости, которые добывал по телефону. Обычно хватало полдня, но иногда уходил и день, а газета выпускалась раз в неделю.

Все это, конечно, в идеале, потому что часто приходилось тратить много времени на пустое присутствие в редакции и на отправление тех или иных офицерских функций — все-таки приличия приходилось, конечно, соблюдать. Но были дни, когда я

вообще не являлся. Пожилой и тихий майор-редактор, который писать вообще, по моему разумению, не умел, мгновенно понял, как ему свезло, и сразу целиком и полностью мне доверился. Мы сразу договорились: я делаю газету, а он покрывает мое отсутствие в конце недели. Два-три раза в день я, если отсутствовал, звонил ему, проверяя ажур. Надо было — подсказывал.

Однажды редактор оторвал меня от пляжа в Бильгя (вторые пляжи в мире после бразильских, только ужасно загаженные) — я звонил из какого-то медицинского кабинета санаторной медсестры, с которой познакомился на пляже и куда она меня завела на узкую медицинскую банкетку. А от Бильгя до Баку два часа езды. Я, помню, быстро сделал свое дело и успел на какое-то общебригадное офицерское камлание, вспоминая по дороге ее, медсестры, дикие крики, когда она бурно кончала. На эти крики должны были сбежаться, но не сбежались, все отдыхающие — видимо, к страстным крикам из медицинского кабинета там привыкли — и вспоминал страшные гигиенические плакаты, висящие у нее по стенам и побуждающие всяк, сюда входящего, непременно пользоваться презервативами, которые, кстати сказать, в бакинских аптеках, как правило, всегда блистательно отсутствовали.



## 8.

Прежде, чем предложить вашему вниманию собственно «Функции Тарасевича», должен оговориться, что они необходимы для материалов высокохудожественных. Многотиражка вовсе не требует столь глубокого подхода, и я не стану врать, утверждая, что именно тогда, в 1976-м году, еще мальчишкой выделил и открыл, как Пастер, эти функции для газеты «За Родину». Все-таки я профессионально пишу 30 лет.

Однако же «Функции Тарасевича» универсальны. Они приложимы к произведению любого жанра и любой тематики. Назвал я их Функциями по аналогии с известными «Функциями Проппа»<sup>14</sup>, которые перечисляют 31 сюжетный узел *сказки*, но описывают, по сути, любой текст.

И еще одна оговорка.

---

<sup>14</sup> Владимир Пропп — советский исследователь детской литературы.

Внутренняя логика талантливого произведения сильнее внешних Функций. Особенно это относится к роману, тем более — к такому, действие которого следует за временем. Подобно Маяковскому в «Как делать стихи», должен предупредить, что «Функции Тарасевича» не сделают из графомана писателя, хотя я отдаю себе сейчас отчет в том, что вооружаю графоманов оружием, которое может использоваться и в немирных целях. Меня успокаивает только осознание непреложной истины: писателем становится человек, который *сам* изобретает *свои собственные* Функции и которому не нужны Функции Тарасевича, Проппа и черта лысого — кого угодно. Но *четко структурировать композиционный ряд* мои Функции не могут не помочь. Делаю их достоянием мировой прогрессивной общественности. Даже в хронологическом романе — все-таки — эти Функции проявляются с тою или иной полнотой.

Итак, вот как, по моему глубокому убеждению, выглядит — внешне! — любое литературное произведение.

1. Сююминутное действие или картинка.
2. Развитие его.
3. Собственное (или персонажа) отношение к нему.
4. История, предшествовавшая действию или его антураж.

5. Возвращение к начальному действию от истории или антуража.
6. Развитие начального действия и повторное возвращение к нему от истории.
7. Развитие фантазмагии, второго плана или начало второго действия по общим функциям.
8. Анализ или критика всех событий сюжета и итог второго действия.
9. Успех или неудача первого или второго действия в связи с анализом.
10. Новое развитие после подведения итогов.
11. Кульминация на основе развития двух действий.
12. Разрешение или неразрешенность нового развития.

В отличие от Функций Проппа, которые их автор предлагает тасовать, как колоду карт, двенадцать Функций Тарасевича предусматривают жестко последовательную композиционную схему.

Мне кажется, я предугадывал ее в 1976 году, когда писал свои замечательные материалы в Баку.

Поскольку у нас служили по большей части представители советского Юга и Востока, я почти каждый материал подписывал псевдонимом восточного типа. Любимый — Угурбек Кысымбаев — помню замечательно. Я сам эту фамилию, повторяющую ономастический рисунок множе-



ства подобных ей, изобрел, в реальности такую я не встречал.

Потом я уже совершенно распоясался и один из материалов подписал так: А. Кобылыбаев. Материал с сей подписью шел в тот номер газеты, который предшествовал концу службы — тут как раз и вызов из Литинститута подоспел и — закрутилось.

Среди всех моих Хулиевых и Калымбековых Кобылыбаев явно выделяется. Кобылыбаев — это был венец творенья. За него я даже перед дембелем получил бы по полной программе. Бог ты мой, да мало ли совершалось деяний, которые можно — ежели хотите — рассматривать как анекдот, а можно — как глубоко антипартийный поступок, подпадающий еще и под какую-нибудь статью Уголовного Кодекса. Все свои преступления я, разумеется, здесь перечислять не стану, а в пример — за давностью лет — приведу, например, такое.

К очередному 7 Ноября я получил непреложный приказ изукрасить часть красными знаменами — был я тогда неделю или дней десять врио замполита батальона. Где взять знамена? А где хошь. Предполагалось, что я пойду в магазин и куплю знамена на свои деньги. Я действительно поехал в город в магазин, но все революционные полотнища уже, конечно, перед праздником разобрали. Что делать? Приказ.

Тут, кстати сказать, хочется вспомнить командира одного из наших батальонов, капитана на подполковничьей должности. За талант свой капитан

и был продвигаем. Меня к его части однажды на несколько дней прикомандировали, мы совершали — только не смейтесь — автопробег.

У этого капитана был существенно сужен словарный запас, причем настолько, что Людоедка Эллочка по сравнению с тем капитаном показалась бы профессором филологии. У капитана было *одно* слово, с помощью которого он общался с подчиненными. Волшебное капитаново слово обозначало название мужского полового органа на общеупотребительном русском языке.

Я в автопробеге решил по молодой дурости проводить итальянскую забастовку — меня к нему прикрепили в то время, когда у меня возникли совершенно иные планы на выходные дни. Поэтому никакой инициативы я не проявлял и за каждой мелочью ходил к начальнику, совершенно его изводя.

— Товарищ капитан, сухие пайки закончились. Где взять?

— Нна-а ххуюю!

— Ясно! Разрешите идти?!

Или:

— Товарищ капитан, «зилок» в канаву вынесло. На тресе не выходит. Чем вытаскивать?

— Ххуем!

— Есть!

И так далее.

Поскольку капитанов метод в обретении флагов не сработал бы, мы в ночь на 7 Ноября выехали вдво-

ем с нашим завклубом, прапорщиком, на грабеж. Я знал место неподалеку от БНПЗ<sup>15</sup>, где помещалась клумба с круговым движением вокруг нее. По периметру клумбы реяли воткнутые в землю красные флаги — не столько революционного, сколько, скорее, спортивного вида. Такие узкие и высокие флаги обычно присутствовали на советских стадионах.

Я сидел за рулем, тихонько каждый раз передвигая ГАЗ-66 на несколько метров, а прапорщик стоял в кузове и оттуда вытягивал флаги из флагштоков. Мы вытащили всё, как опустошающие огород мародеры. Больше всего я боялся при налете, что нам впилят в корму — ездили в Баку совершенно без всяких правил, ни на что не обращая внимания, а по ночам вообще ужасно. Мы же, разумеется, как все воры, стояли с потушенными габаритами, совершенно неразличимые в кромешной бакинской темноте. Так я не только выполнил приказ, но и обеспечил часть наглядной агитацией на много лет вперед.

Это совершенно подсудное дело, рассказываю только за давностью лет. Если бы всплыло, могли и посадить, и расжаловать, и исключить из рядов передовых строителей коммунизма. Во всяком случае, мало, опять-таки, не показалось бы. И за Кобылыбаева мне тоже влили бы дай Бог. Но пронесло.

Майор-редактор обладал, видимо, тоже сильным эгрегором, потому что он, услышав, что завтра я

---

<sup>15</sup> Бакинский нефтеперегонный завод.



отбываю на сессию, решил проверить уже сверстан-  
ный номер — то есть, заняться после долгого пере-  
рыва своими прямыми обязанностями! — и обна-  
ружил проявление моей милой непосредственности.  
К чести редактора, он не только не пожаловался и  
не устроил мне разнос, а лишь головой покачал —  
тихий и безвредный был мужик — и, помню, поста-  
вил под материалом почти такой же по силе воздей-  
ствия на читателя псевдоним: А. Иванов.

Я же своего эгрегора в армии и вообще в Баку не  
послушался только два раза, и оба раза был наказан  
за непослушание.

В тот день, когда я столь эффектно выступил в  
Филармонии, предполагалась пьянка дома у одно-  
го из переводимых мною поэтов — кстати, у чрез-  
вычайно талантливого, на мой взгляд. Азербайджан-  
цы — тогда, во всяком случае, — вполне исправно  
пили водку, несмотря на заветы Корана. Вечером за  
мною заехали, а поскольку поэт мой был весьма сво-  
еобразным и, главное, общительным человеком, в  
белых «жигулях», которые мне подали к подъезду,  
уже сидело, не соврать, семь или восемь литерато-  
ров, я оказывался восьмым или девятым. Кое-как я  
втиснулся; ехали, понятно, не на коленях друг у дру-  
га, а просто-таки на головах. Я прекрасно помню,  
что я упирался вывернутою шеей и одной щекою в  
стекло.

В таком положении говорили, естественно, о ли-  
тературе и о театре. Один из ехавших, как оказалось,

театральный режиссер, очень симпатичный малый, произносил интересные мне вещи, я, помню, увлеченно слушал и даже почти не замечал не совсем удобной своей позы. Еще я отметил, что режиссер очень хвалил какую-то девушку-режиссера — я понял, что хвалил он ее справедливо и еще, помню, порадовался наступившему равноправию женщин в искусстве народов Востока и прогрессивному направлению ума режиссера!

И тут разговор вновь перекинулся на прозу, прозвучало вдруг имя Гранта Матевосяна. Поэт, которого я переводил, высказался в том смысле, что Грант Матевосян — прозаик мирового масштаба. Совершенно справедливое высказывание. Я тоже испытывал наслаждение от чтения Матевосяна.

— Что говорить об армянах, — сказал на это режиссер. — Хороший армянин — мертвый армянин.

Это произошло лет через пять-шесть после окончания моей службы, но еще задолго до ужасных бакинских погромов.

— Остановите, — косноязычно, упираясь губами в стекло, попросил я, — я сойду.

— Игорь! Да что ты, Игорь! Да ладно, Игорь! Он пошутил! — И так далее. «Просто щютка», как однажды сказали мне бакинские милиционеры.

Поехали дальше, но увлеченный разговор прекратился, спутники мои лишь перебрасывались теперь короткими фразами и — только по-азербайджански.

В доме поэта уже ждал нас накрытый стол, женщины, как водится, показывались только для того, чтобы внести новые явства, и все несколько остыли, отошли от произошедшего.

Азербайджанская кухня, кстати сказать, лучшая из всех кухонь мира — на мой взгляд. Тут вспоминается, как во время того самого автопробега сладкоречивый командир батальона, несколько его офицеров, и я в том числе, в горном Азербайджане попали в маленькое, притиснутое к скале заведение — привел солдат, местный уроженец, так что прием оказался проведенным по первому разряду. Вкус того обеда до сих пор у меня на губах. Синее небо, грозные, но кажущиеся невесомыми скалы, зелень луга, журчанье ручья, трепещущая под ветерком кружевная тень от чинары!

Теперь же нас, сидящих за столом, окружала тьма с толкущейся возле лампочек мошкаррой. Поэт мой быстро напился и произнес спич по-азербайджански — мне переводил сидящий рядом. Это была яростная проповедь национализма. Я помню, как поэт вдруг по-русски взревел:

— Я-а не ха-ачу работать на-а Европу!

— Правильно! — режиссер даже зааплодировал. — Браво!

По кругу начали произносить тосты, мой эгрегор просто вопил мне «Молчи! Молчи! Молчи, дурак! Молчи!». Но я не послушался. Когда очередь витийствовать дошла до меня, я выразился в том духе, что,



дескать, как же так, талантливые люди, дружба народов и прочее — словом, понес полный бред.

Ни в какую дружбу народов сейчас я не верю, дружить могут отдельные люди между собою — любых национальностей. Наверное, — сейчас я думаю — никаким поэтам без национального самосознания просто невозможно писать стихи — и русским, и азербайджанским, и всяким прочим поэтам. Что, разумеется, ничуть не оправдывает мерзкие убийства невинных людей другой веры. Мой поэт, кстати тут сказать, писал замечательные стихи (и рассказы) именно потому, что, основываясь на национальной культуре, впитал в себя те стиливые достижения, которые выработала нелюбимая им Европа. Это общее место, но он не понимал его.

Произнес я тост за дружбу народов, выпил, сел и вдруг увидел, что стол совершенно опустел. Я остался один, все скрылись.

Вышел один наиболее трезвый и сказал, что хозяин хочет, чтобы я ушел. Это азербайджанец передал гостю! Мало того — своему переводчику, переводчику, который везде его в Москве напечатал и искренне прославлял, который готовил уже его первую книгу на русском языке! Во как заело!

Что ж, меня выгоняют — я уйду! Блядь! Не хотят работать на Европу — да не надо, хер бы с ними! Европа легко без них обойдется.

Переводы множества национальных поэтов и писателей в советское время кормило множество же

народа в Москве. Это всем известно. Люди жизнь проживали, содержали семьи, зарабатывая исключительно на поэтизировании и конвейерном зарифмовывании многокилометровых подстрочников. И далеко не все московские переводчики относились к этому делу добросовестно. Я искренне выпустил пять книг стихотворных переводов — переводов стихов талантливых людей, о чем не то, что жалею сейчас, а просто сознаю, что лучше бы я пораньше научился осмысленно делать собственную прозу и этому посвящал время.

Я поднялся тогда и вышел вон — словно в открытый космос из теплого космического корабля. Низенькая дверца в дувале закрылась за мной, я оказался на дороге и мгновенно потерял даже эту дверцу, из которой только что вышел. Ночь — глаз коли. Стрелок на часах не видно, и осветить циферблат нечем — зажигалку забыл на столе. Слева угадывается двухметровый дувал, справа дувал. Я пьян. В какой стороне Баку — Бог знает. Я где-то за городом, но где? И никаких иллюзий насчет местного населения, еще и, в отличие от недавних собутыльников, не отягощенного интеллектуальными профессиями.

Я было, напрягши остатки разума, попытался определить, в какую сторону надо двигаться и действительно направился в выбранном направлении, но тут гостеприимные хозяева немного пришли в рассудок. Меня догнала машина — я было, увидев огни,

собрался выходить на середину дороги, все поставив на карту, но за рулем сидел один из участников застолья — и благополучно доставила в гостиницу. На этом мое литературное обслуживание не желающих в Европу поэтов к общему удовольствию закончилось. И слава Богу.

Сейчас я думаю, что командировка и выпивка — один и тот же непреложный императив бытия, во всяком случае, у меня так получалось, ехал ли я переводить очередного поэта или писать о строительстве железной дороги. О своей первой командировке в «Студенческом меридиане» я упомянул, а первая командировка в «Гудке» в 1976 г. (уж два слова о «Гудке», в котором в разное время работали Булгаков, Бабель, Ильф с Петровым, Катаев, Олеша и проч., в том числе ваш покорный слуга) была в Уфу, вернее — под Уфу, в райцентр с издевательским названием Раевка, поразивший меня грязью, которую я не видел и в Азербайджане, и — бесконечными полями с полностью побитым дождем урожаем. Куда бы там за два дня меня ни везли, везде одна и та же была картина — желтые лежащие поля от края до края. Мне объяснили, что *убрать этот урожай невозможно*, разве что с серпами выходить на уборку. Меня это поразило тогда. Вряд ли полегшая пшеница являлась обязательным атрибутом развитого социализма, но полное равнодушие и покорность обстоятельствам, что сквозили в голосах людей, плохо соединялись с тогдашним моим ожиданием



жизни — горячей, удачливой, счастливой. Сейчас я думаю, что люди, живущие всю жизнь в вагончиках, не могут просто по определению ни вырастить урожай, ни построить железную дорогу, но миллионы людей так проживали и продолжают проживать жизнь и — растят и строят.

Однако убогая жизнь принимавших меня железнодорожников не помешала возлияниям. Я, помнится, приехал писать о ремонте пути — это, кстати сказать, грандиозное зрелище, вышибавшее из меня тогдашнего поэтические слезы, и вот покуда сей ремонт производился, а я, стоячи, как Наполеон, в стороне на пригорке, наслаждался зрелищем работы нескольких мощных механизмов, шумами, гудками и криками, поодаль на траве-мураве раскинули скатерть-самобранку. Пили долго. Не помню, куда подевались мои замечательными собутыльники, они все последовательно отваливались и уползали в кусты, где и оставались, а я опился кумысом. Тут — аккурат в нужный момент, человек был с большим опытом — явился зам.начальника дистанции пути (это немалая должность на железной дороге) и пристроил меня, как на попутку, на проходивший мимо *товарный поезд*.

Вообще внеплановая остановка состава на перегоне — это ЧП. Самописцы в кабине машиниста всё фиксируют. А тут забросили проволоку на телефонный кабель, что идет вдоль пути, покрутили ручку телефона в эбонитовом ящичке (сейчас такие мож-

но увидеть только в историческом кинофильме), и тепловоз, тянущий состав с пустыми бочками, остановился прямо у ног, словно бы машинист блистательно сдавал тест на точное попадание первого колеса на обозначенную черту. Я с трудом залез по отвесной лесенке, меня провели в обратную кабину, посадили в кресло, подсунули, помню, под зад какую-то поролоновую попону, и я тут же вырубился, успев, правда, сделать ручкой, как Ильич, и произнести: — До Уфы!

А потом отобразил героический труд ремонтников в блистательном репортаже. И стишки написал.

Вообще я первым никогда в командировках не отрубался. Гордиться тут нечем, просто молодой организм еще умел сопротивляться своему погубителю. Если еще раз вспомнить Баку, так как-то меня встретил довольно пожилой поэт (я прилетел его переводить) вместе со своим приятелем, тоже пожилым человеком. Приехали они в аэропорт Бина, я извиняюсь, на «запорожце». И поэт тоже долго извинялся, что встречает *такого человека* (как я, если кому непонятно) на столь непрезентабельном автомобиле. Ну-с, приехали в кафе на ипподром — оно в советские времена считалось весьма авторитетным местом для посиделок в Баку, так что даже и не помню, как и почему людей, вышедших из «запорожца», туда пустили. А потом мой поэт сел за руль и все, помнится, ревел басом:

— Ку-уда-а я-а е-еду-у?

Приятель его, сказавши, что он не может на это смотреть, попросил остановиться и вышел вон — струсил. А я остался. Куда мне было идти? Не знающий, куда он едет, поэт повел машину дальше, но вдруг остановился прямо посреди проезжей части, вышел и начал справлять на сплошную осевую линию малую нужду — как потом оказалось, прямо напротив иранского представительства; сейчас это наверняка признали бы фактом терроризма. Потом поэт, удовлетворенно урча, залез на заднее сидение и мгновенно заснул. Я кричал «Тофик, Тофик!», толкал его, но куда там! И вот вечерний Баку, идти в нем мне некуда, в гостиницу никакую нельзя, потому что я, разумеется, тоже пьян, да и не поселили бы меня с Дона с моря ни в какую гостиницу без предварительной договоренности, а куда Тофик собирался меня везти, я и понятия не имел. То есть, кажется, к себе домой, но где это?

Я сел за руль и через весь вечерний город поехал в Союз писателей — вот что пришло в мою бедную голову. Союз писателей, разумеется, был давно закрыт. Тогда я поехал к знакомому русскому переводчику Саше. Уже стояла ночь. На перекрестке, уже за 20 метров от Сашиного дома, я въехал в УАЗку — отлично помню, что это была УАЗка. Причем я единственное что, так это помял ему порог, больше ничего. А «запорожец» Тофика я раздолбал хорошо. Стоило это мне 50 рублей — тогда это были большие деньги. То есть, не ремонт то-



фикова лимузина стоил полтинник — он потом больше заплатил — своих денег, а полтинник я отдал шоферу УАЗки. Он сразу понял, что я не бакинец, сказал, что я пьян и что он сейчас вызовет милицию. Эгрегор тут же дал мне непреложную команду платить. Я немедленно, несмотря на опьянение, правильно среагировал. Знакомство с бакинской милицией в той ситуации обошлось бы мне значительно дороже.

А первый раз я не послушался эгрегора за несколько лет до блистательной тофиковой встречи, в день первого своего политзанятия для солдат. К тому времени я прослужил максимум неделю, а то и меньше.

Прекрасно помню тему политзанятия — подъем военной промышленности перед Великой Отечественной войной. Солдатам, представьте себе, читают подобные лекции. Правда, все равно не в коня корм — среднеазиат с четырьмя классами образования (а на самом деле он с трудом подписывается, вот и все образование) вряд ли способен запомнить что-нибудь подобное. Классический школьный анекдот: «—Когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция? — 25-го Октября. — А почему праздник 7 Ноября?» не раз проверялся мною на практике и каждый раз воины впадали в ступор. Не сомневаюсь, что в иных войсках — например, Ракетных войсках стратегического назначения — политзанятия имели несколько большую

отдачу, но особых иллюзий не питаю тоже. Какой уж там подъем промышленности...

А я очень кстати еще в институте прочитал книгу авиаконструктора А. Яковлева «Цель жизни», где, кроме панегирика сталинизму и инвектив в сторону Хрущева, вычитал и многие интересные факты — не только об авиации — и запомнил. Так что замполит казался очень удивленным, когда вновь прибывший лейтенант поинтересовался, что на политзанятиях за тема и тут же сходу выразил полную готовность вещать. Кстати тут сказать, в МИИТе я окончил какую-то странную Школу лекторов по философии, которая, конечно, к настоящей философии никакого отношения не имела, а только талдычила дикие силлогизмы «научного коммунизма», но зато никаких комплексов перед любой аудиторией у меня не оставила.

Замполит сел в первом ряду и с некоторым недоумением мою блистательную лекцию выслушал. Думал, видимо, что я стану заикаться и спотыкаться на все четыре копыта.

Тут я и совершил свой главный, за все два года службы непревзойденный подвиг. Он заключался, конечно, вовсе не в ловкости, с которой я провел политзанятие.

Еще утром, отправляясь в часть, я почувствовал некоторое кручение в животе. Ну, кручение и кручение, в молодости — увы, признаться, как и сейчас — я был совершенно беспечным человеком.

Перед началом политзанятий кручение усилилось, а как только я начал вещать, кручение переросло в настоящую революционную ситуацию: низы хотели, а верхи не могли. Мой эгрегор настоятельно требовал прервать увлекательное занятие и направиться в угол части, где помещался небольшой беленый домик, распространяющий на всю окрестность все перебивающий запах хлорки. Тогда в Баку свирепствовала дизентерия, но я не придавал значения предупреждениям и что-то купил на базаре и съел — видимо, немытым.

Крепился я изо всей силы. Обосраться на глазах всей части — это было бы нечто совершенно вопиющее, совершенно невозможное, немыслимое. Я решил, что и прерываться для того, чтобы сбегать в туалет, тоже нельзя. И продолжал говорить — свяжно говорить, энергично! Меня прошиб пот — насквозь, перед глазами ходили синие круги, но я проводил политзанятие!

Эгрегор уже просто выходил из себя, требуя подчинения, и мы договорились с ним, что я отправлюсь в домик в перерыве между двумя часами занятий. Наконец перерыв наступил. Я, сжимая зубы и анус, вышел на жгучее бакинское солнце и тут меня обступили солдаты, уважительно задавая вопросы. Я, надо признаться, растерялся. Эгрегор вопил на меня, и я уже готов было прервать общение с аудиторией, когда подошел командир! В поту я командовал «Смирно!», доложил. Командир тоже начал



что-то спрашивать — не помню, что, потому что отвечал я в полубреду. Тут десять минут перерыва истекли, личный состав вновь расселся по скамьям и я, вместо того, чтобы послушаться настоятельнейшей внутренней команды, *еще сорок минут говорил!* Мальчишеская глупость помешала отлучиться на пять минут. Безумству храбрых поем мы славу! В результате непослушания я героически получил не только дизентерию, но и — видимо, пожизненно — испорченный желудок.

До туалета я все-таки добежал без потерь, и тут же меня отправили — не на «скорой», «скорой» не оказалось в наличии, дизентерик путешествовал в госпиталь на «скором» КАМАЗе! — в бригадный медсанбат, где я благополучно и провел инкубационный период — три недели. С дизентерии началась моя воинская биография, эгрегор ясно давал понять, что к чему, но я не внял предупреждению и почти год все собирался еще двадцать пять лет ходить строем. Правда, занятия литературой, как позже выяснилось, тоже совсем не просты, и не обосраться тут гораздо труднее, чем в Советской Армии или даже при прыжке с парашютом. Но это уже совсем другая история.

2004—2006



# МОЛОДОСТЬ FOREVER

**Игорь Тарасевич**

Редактор *Владимир Вестерман*

Верстка *Дмитрия Корсакова*

Корректор *Наталья Петрова*

ООО «Издательство Зебра Е»

119151, Москва, ул. Можайский вал, д. 8, корп. 20.

Тел.: 8-499-240-11-91.

E-mail: [zebrae@rambler.ru](mailto:zebrae@rambler.ru)

Санитарно-эпидемиологическое заключение

77.99.02.953.Д.003857.05.06 от 05.05.2006 г.

По вопросам приобретения книг

обращайтесь в Издательскую группу АСТ:

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7 этаж.

Тел.: (495) 615-01-01, факс: 615-51-10

E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru); <http://www.ast.ru>

Издание осуществлено при техническом содействии

ООО Издательство АСТ

Отпечатано в соответствии с качеством

предоставленных диапозитивов

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620041, ГСП-148, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru> e-mail: [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)





# БМЖ

Библиотека Модной Жизни



## Игорь Тарасевич Молодость forever

АСТ  
Зебра Е



Сейчас меня ужасно веселят черные очки внутри помещений и в темное время суток на различных братках, охранителях и охранниках (кои или теми же самыми братками, или бывшими охранителями и являются), я не вижу в зеркальных гляделках ничего, кроме желания дешево вые...ться и понимания, что вые...ться они безнаказанно – могут. Вероятнее же всего, эти ребята сами боятся, что кто-то заглянет им в глаза. Или я не знаю какого-то главного osobистского секрета.